

Забутые  
рассказы

ВАСИЛИЙ  
АКСЕНОВ  
ЛОГОВО  
ЛЬВА



Василий Аксенов

**Логово Льва. Забытые рассказы**

«АСТ»

2010

## **Аксенов В. П.**

Логово Льва. Забытые рассказы / В. П. Аксенов — «АСТ», 2010

Эта книга - подарок для истинных ценителей творчества Василия Аксенова. В нее вошли рассказы, которые не переиздавались десятки лет. Разбросанные по старым номерам журналов и газет, они и сейчас поражают необыкновенной свежестью языка, особым «аксеновским» видением мира.

© Аксенов В. П., 2010

© АСТ, 2010

## Содержание

Случайных совпадений не бывает	5
Высоко там, в горах...	7
Наша Вера Ивановна[1]	7
Асфальтовые дороги	18
Самсон и Самсониха	28
Сюрпризы	37
С утра до темноты	45
Катапульта	51
1	51
2	53
3	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# Василий Павлович Аксенов

## Логово льва

*Издательство благодарит за помощь сотрудников архива  
«Литературной газеты»*

### Случайных совпадений не бывает

Свидетельствую: зрелый Аксенов, свирепо именовавший даже своих знаменитых «Коллег» (1960) и «Звездный билет» (1962) «детским садом», очень не любил, когда ему напоминали о его *первой* публикации 1958 года, сильно кривился, имея на это полное право, но отнюдь не обязанность.

Потому что без этих ранних, наивных «Асфальтовых дорог» и «Дорогой Веры Ивановны» знаменитый Василий Аксенов, из джинсового пиджака которого, как из гоголевской «Шинели», вышла вся новая русская проза, – далеко «не полный».

Нужно было звериное писательское чутье тогдашнего редактора суперпопулярного журнала «Юность» Валентина Катаева, чтобы разглядеть в экзерсисах безвестного выпускника Ленинградского мединститута нечто стоящее, неуловимо отличающееся от расхожей «оттепельной» комсомольско-молодежной лабуды про парткомычей «с человеческим лицом» и честных советских ребят, которые верны «заветам отцов», хоть и любят американский джаз. Говорили, что мэтра восхитила фраза молодого автора «стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля». Такого он давненько не слышал и не читал. Здесь же и «пепельница, утыканная окурками, похожая на взбесившегося ежа», и «темные углы военкомата», и «официант с каменным лицом жонглера».

Раннего Катаева, будущего Героя Социалистического Труда, награжденного двумя орденами Ленина, углядел автор «Окаянных дней» Иван Бунин, будущего «отщепенца и антисоветчика» Аксенова – Катаев. Круг замкнулся. Всем всё зачтется.

Первые рассказы этого сборника – наглядная иллюстрация того, как «Вася из Казани», обладающий природным даром и горькими знаниями о жизни, на какое-то время *пытался заставить* себя поверить в искренность заведомых коммунистических лжецов, утверждавших, что к прошлому нет возврата. Он, сын репрессированных родителей, получивших нечеловеческие сроки советских лагерей, пытался *честно* вписаться в систему, но быстро понял, что это, увы, невозможно. И, самое главное, не нужно, *неправильно*. Что с этими красными чертами нельзя, не получится договориться *по-хорошему*. И нужно для начала удалиться от них в другие, недоступные им сферы. Ну, например, туда, «где растут рододендроны, где играют патефоны и улыбки на устах». Или на теплоход, идущий под радиомузыку из «Оперы нищих» по сонной северной реке. Там чудеса, там героические летчики в «длинных синих трусах» неловко прыгают в воду, плавают не стильно, а «по-собачьи», глупо острят, но все же обладают неким таинственным знанием о законах «катапульти», которое пока что недоступно двум спортивным столичным пижонам...

А эти пижоны станут лет эдак через десять отчаявшимися, спившимися героями аксеновского шедевра, первого его свободного от власти и цензуры романа «Ожог», который он начал писать в стол сразу же после «чехословацких событий» 1968 года. «Перемена образа жизни» аукнется в «Острове Крыме». Рассказ «О похожести» – в «Новом сладостном стиле» и «Кесаревом свечении». Аргентинский скотопромышленник Сиракузерс обернется персонажем народного гиньоля под названием «Затоваренная бочкотара».

Процесс пошел, процесс идет. Случайных совпадений в жизни не бывает. 20 августа 1937 года, ровно в тот день, когда ему исполнилось пять лет, Василий Аксенов, будущий кумир многих поколений российских читателей был свезен в дом для детей «врагов народа». Всхлипывая, он впервые заснул на казенной кровати, прижав к мокрой щеке любимую игрушку, тряпичного *львенка*. Эта книга называется «Логово льва».

*Евгений Попов Июнь 2009*

## Высоко там, в горах...

### Наша Вера Ивановна<sup>1</sup>

На озере катер попал в болтанку. Барсуков сидел в каюте на клеенчатом диванчике и с отвращением смотрел в иллюминатор, который то поднимался в серое, понурое небо, то зарывался в сплошную зеленовато-желтую муть. Дверцы каюты открылись, и на трапе показались толстые подошвы. Семенов с трудом протащил свое тело внутрь, откинул капюшон, вытер мокрое румяное лицо и весело сказал:

– Разбушевалась стихия, прямо море-окиян! Ну, как, Максим Сергеевич, легче?

Барсуков промолчал.

– У вас, кажется, высокая температура. Примите норсульфазол, а лучше всего водочки с перцем. В каюте холодно, июнь, черт его побери!

Озноб давно прошел. Барсукову было очень жарко, его душил кашель, и колело в левом боку. «Пневмония», – подумал он и сказал:

– Давайте и то и другое.

– Скоро будет пристань. Может, вам лучше там остаться?

Барсуков плотнее завернулся в макинтош, он чувствовал: температура, наверное, не меньше сорока.

– Есть у меня страшный вражина, Виктор, – проговорил он, – мистер Ревматизм. Это вероломный тип. Стоит чуть зазеваться, как он нападает, и уж тогда, как говорится, ни дохнуть, ни...

– Пойду скажу, чтобы заворачивали, – пробормотал Семенов и полез наверх.

– Не надо! – крикнул ему вслед Барсуков.

«И угораздило же вчера после осмотра верфи попасть под дождь! Ничего, до Ленинграда не загнусь, а там на самолет – и в Москву. Ленушка дома пенициллином накачает, и опять здоров старый конь – тащи воз, призы бери на скачках».

Резкая боль в правом коленном суставе, словно прошла сквозь тело длинная игла, заставила его застонать. Начинается! Теперь, он знал, суставы вспухнут, нельзя будет шевельнуться. Он встал, высунул голову в люк и крикнул:

– Виктор! Поворачивайте к пристани.

– А мы уже подходим, Максим Сергеевич, – ответил из рубки Семенов.

Сквозь частую сетку дождя были видны голубые постройки пристани и белый красавец – теплоход «Онега», ошвартовавшийся у причала. Здесь, за выступающим далеко в озеро каменистым мысом, волны были меньше. Катер бойко подбежал к причалам.

Семенов взял было Барсукова под руку, но тот досадливо поморщился – оставьте! – и, тяжело ступая, медленно пошел к проходу, за которым теснились в ожидании посадки пассажиры, в основном женщины с малыми детьми, с мешками и деревянными чемоданами. Барсуков открыл калитку; должностное лицо, приставленное для порядка, робко отступило.

– Где начальника найти? – спросил Барсуков.

– Начальник у нас уехавши, в отпуске.

– Ну кто там, зам или кто?

– Зам есть. Пожалуйста прямо, потом налево.

– Проводите! – коротко приказал Барсуков.

---

<sup>1</sup> Автор рассказов «Наша Вера Ивановна» и «Асфальтовые дороги» – врач. Ему 26 лет. Печатается впервые. – *Прим. редакции журнала «Юность», 1959.*

Заместитель начальника пристани Иван Сергеевич Сбигнев чаевничал у себя в кабинете, когда раздался короткий стук и в комнату вошел тяжеловесный мужчина явно не местного вида. Макинтош из серого наитончайшего габардина струился вниз серебристыми волнами. Такой макинтош был затаенной мечтой Сбигнева. Под мышкой вошедший держал кожаную папку с молниями.

– Здравствуйте, – сказал незнакомец, – моя фамилия Барсуков. – И протянул Сбигневу широкую ладонь.

Барсуков? У Сбигнева похолодело где-то внутри. «Что его к нам занесло? Он же был в... Вот оказия!»

– Сбигнев, – растерянно пробормотал он. – Прошу вас, садитесь. Чем могу служить?

В кабинет без стука ворвался Семенов.

– Разузнал, Максим Сергеевич! Больница водников, двадцать пять коек. Врач, как говорят, хороший.

Барсуков повернулся к Сбигневу:

– Вот, товарищ... Сбигнев, придется мне у вас отлежаться денька три: ревматизм разыгрался. Связь с Москвой у вас есть?

– С Москвой? – Сбигнев растерянно моргнул.

– Я имею в виду телефонную связь. Мне нужно будет часто говорить с Москвой.

– Это сделаем, обеспечим, товарищ Барсуков. Слышимость удовлетворительная.

– Ну, хорошо. Виктор, вы не задерживайтесь! Попросите Нестеренко отложить заседание коллегии до четверга. Впрочем, я сам ему позвоню. В Ленинграде распорядитесь насчет катера. Отправляйтесь!

– Максим Сергеевич, я хотел бы вас...

Барсуков поморщился: боль усиливалась.

– Вы слышали, что я вам сказал?

Он протянул Семенову руку, насильственно улыбнулся.

– Не обижайтесь. Вы дельный парень. Съездили мы с вами хорошо, да вот только чепуха эта немного напортила. В общем, проваливайте, товарищ Сбигнев обо мне позаботится.

– Это безусловно, не волнуйтесь! – Сбигнев суетливо вскочил. – Сейчас распоряжусь насчет машины.

Он вышел из кабинета вместе с Семеновым. Максим Сергеевич видел в окно, как Семенов обычной своей энергичной походкой прошел по причалу и спрыгнул вниз, на палубу катера. Барсуков поймал себя на том, что уход Семенова вызвал у него странное детское чувство одиночества и незащищенности.

...Пристанский «газик» ухал по разбитому булыжнику мимо низких бревенчатых строений. Улицы поселка под непрерывным морозящим дождем выглядели нерадостно. По дощатым мосткам спешили согбенные фигурки. Холодные тучи, как стадо животных с тяжелыми, отвисшими животами, двигались со стороны озера. Барсуков хорошо знал свойства этого северного края. Непривычному человеку здесь в такую погоду впору в петлю лезть: на редкость мрачные мысли внушает этот понурый пейзаж. Но стоит доброму ветру разогнать тучи, как природа вокруг оживает и воздух наполняется особым, пронзительным блеском. Озеро, подобное морю, вытекающая из него река и великое множество мелких озер в лесах – вся эта огромная масса воды отражает солнце и распространяет вокруг пронизывающее сияние. Тогда меняются и люди.

Однако сейчас Барсукову было не до погоды. Затихшая было боль возобновилась с новой силой. Суставы горели, в груди будто возился кто-то и сжимал временами сердце в огромной пухлой лапе, оглушительно стучало в висках. Ему казалось, что сейчас он потеряет сознание.

«Газик» выехал из поселка и помчался по берегу реки, которая в этом месте вытекала из озера сразу мощным, широким потоком. Барсуков видел на середине реки темный силуэт

самоходной баржи и свой маленький катер, несущийся ей вдогонку. Ему показалось, что катер вот-вот врежется в баржу. «Что они делают? Идиоты! Семенов... Славный малый Семенов! Такие люди нам нужны. Интересно, женат ли он? Ленушка в девках засиделась... Лена... Лена! Это папа. Да, это я, старик. Девочка, я немного задержусь. Коллегия... Нестеренко... Товарищи! Меня просили быть кратким... Что? Почему у вас такие лица? Погибаем? Я погибаю? Налетим на баржу? Нет! Нет!»

Сидящий на заднем сиденье Сбигнев был смертельно напуган: товарищ Барсуков запрокинул голову и выкрикивает нелепые фразы:

– Колька, гони! Чего доброго, не довезем...

Шофер отжал сцепление и весело ухмыльнулся:

– Довезем, ничего! Жар у них большой. Ничего, мужик здоровый.

Больница находилась в километре от поселка в березовой роще: продолговатое одноэтажное здание барачного типа – восемь окон с марлевыми занавесочками по фасаду. Штат в больнице небольшой – полторы врачебных единицы и пять с половиной сестринских. Полторы врачебных единицы – это Вера Ивановна Горяева, год назад просто Верочка Горяева, выпускница Ленинградского мединститута. Когда привезли Барсукова, Веры Ивановны не было в больнице. В это время она храбро карабкалась на борт баржи № 4165: у жены шкипера начались роды. Через час, когда наследник шкипера мощным воплем возвестил о начале своей жизни, она вышла на палубу и вдохнула полной грудью мокрый воздух. С берега к барже направлялась лодка.

– Вера Ивановна! – крикнули оттуда. Она узнала больничного кучера Володьку Никанорыча. Он греб изо всех сил и весело орал: – Вера Ивановна! К нам министра привезли! Давай скорей!

– Какого министра, что ты мелешь?

– Право слово, министр из Москвы! Сбигнев уж телефон весь оборвал.

В больнице был переполох. Ходячие больные толпились в коридоре. Из дежурки доносились сердитые голоса Сбигнева и Клавы, дежурной сестры. Вера Ивановна, решительно стуча каблучками, прошла прямо в 3-ю палату: только там была свободная койка.

Барсуков лежал в полузабытьи. Он смутно видел женские лица и чувствовал прохладные пальцы, ползающие по его телу. Однако он сказал:

– Доктор, главное сейчас – пневмония. Начните с нее.

– Спокойно, больной, тише, – услышал он нежный женский голос, похожий на голос Лены. – Скажите, есть у вас боли в сердце?

– Очень сильные, доктор.

– Сжимающего характера?

– Да.

Вера Ивановна повернулась к Клаве:

– Начните сразу же пенициллин по двести тысяч через четыре часа, сделайте камфору и кубик пантопона... Нужно снять спазм коронарных сосудов, – добавила она.

Барсуков закрыл глаза, Все правильно. Славная девочка. Присутствие этого девичьего лица, темных кудряшек из-под шапочки как бы внесло атмосферу домашнего уюта и спокойствия. Если бы не боль, было бы даже приятно лежать в центре всеобщей заботы и чувствовать вокруг себя движение нежных и уютных существ.

Вера Ивановна долго еще сидела возле «министра», выслушивала фонендоскопом сердечные тоны и дыхание, измерила кровяное давление. После укола пантопона Барсуков уснул. Вере Ивановне понравилась его большая голова с седыми висками, крупные, волевые черты лица. Сразу видно: большой человек. Такими в кино последнее время изображают начальников, временно оторвавшихся от масс, а потом осознавших свои ошибки.

Она совсем забыла о Сбигневе и удивилась, увидев его в дежурке. Он поднялся ей навстречу:

– Ну, как, Вера Ивановна?

– Думаю, что все будет в порядке.

– Что вам нужно для лечения? Обеспечим. Может, консультанта вызвать из Ленинграда?

– Что же консультировать? Диагноз не вызывает сомнений. Вот на рентгене бы надо посмотреть, да вы же нам тока не даете.

– Ток дадим, обеспечим. А то, может, вызвать профессора какого-нибудь? Знаете, Вера Ивановна, товарищ Барсуков – очень, очень крупный товарищ!

– Да-да, я слышала... Как хотите. Вызывайте.

Человек болезненный, Сбигнев любил медицину и медицинских работников. Даже к этой девчонке, с которой у него не раз бывали стычки по хозяйственным вопросам, он питал определенное почтение. Поэтому он обратился к ней не тоном приказа, а мягко, даже просительно:

– Вера Ивановна, нужно окружить товарища Барсукова заботой. Это будет иметь большое значение для нашей пристани, да и для вас, пожалуй.

– О чем вы, Иван Сергеевич?

– Надо выделить отдельную палату. Я понимаю, у вас перегрузка, но...

– Куда же мне девать больных? Нет, я этого не сделаю.

– А нельзя ли кого-нибудь выписать? Есть, наверное, такие, что залежались? – Голос Сбигнеза достиг предела вкрадчивости.

– Нет таких, – отрезала Вера Ивановна и, стараясь не обращать на него внимания, принялась заполнять историю болезни.

– А я все-таки настаиваю на отдельной палате! – повысил голос Сбигнев. – Из третьей можно вынести три койки в коридор, ничего не случится с дедом Малофеевым.

Вера Ивановна отбросила ручку и подняла голову. Лицо ее пылало; голос стал звонким и ударил Сбигнева, как гибкий металлический хлыст:

– Как вы смеете? Распоряжайтесь у себя на работе! Там вы даже позволяете себе ставить беременных женщин на погрузку, а здесь я вам не позволю... Я врач! Понимаете? Мне безразлично, кто мой больной: министр, шкипер или лесоруб.

– Ну, знаете ли, ставить на одну доску лесоруба и товарища Барсукова!..

– А почему бы и нет? – запальчиво воскликнула Вера Ивановна. – Ведь это же товарищ Барсуков. – Она сделала ударение на слове «товарищ».

В голосе Сбигнева тоже появились металлические звуки:

– Я сообщу о вашем поведении в райком. Вместо того чтобы выполнять распоряжение, вы занимаетесь демагогией.

Вере Ивановне стало весело.

– Сообщайте куда хотите, но не забудьте про электричество.

Сбигнев схватил кепку и устремился к выходу.

К вечеру усилился ветер. Он налетел с юго-запада короткими теплыми шквалами и раскидал по небу и отогнал к горизонту серые северные тучки с их нудным моросняком. Небо очистилось, но с юга уже наплывала, поднимаясь все выше огромными клубами, темно-синяя могучая туча. Она, казалось, дрожала от страсти и еле сдерживаемой силы, она поглотила солнце и украсила свои края горячей оранжевой каймой, она была воинственна и шла напролом, занимая все небо. Но люди, звери и растения ждали ее атаки с радостью, потому что это была наконец-то настоящая летняя туча! Потемнело небо, и вода стала темно-синей, как туча. Стукнули по шиферу первые капли. Туча разверзлась молнией – радостно и плотоядно улыбнулась. Туча загрохотала – и сразу полились вертикальные сплошные струи настоящего летнего ливня. Шум стоял невообразимый. Туча оглушительно хохотала, дождь колотил по крышам, налетающий порывами ветер срывал водяную пыль. Буря!

Созвучные явления, видимо, происходили в организме Барсукова. Он метался на кровати, скрежетал зубами, выкрикивал бессвязные слова: организм мощно боролся с инфекцией. Клава стояла в дверях палаты и смотрела на красного, потного Барсукова. Дважды она проверила пульс и один раз ввела камфору. Она решила не вызывать Веру Ивановну: она знала, что это хорошая буря.

Барсукова разбудил солнечный луч. Скосив глаза, он увидел в окне солнечное утро. Река, мокрая трава и березы – все это дрожало и отражало свет. На потолке плясали солнечные пятна. Барсуков поднял голову. Она оказалась легкой и настолько свежей, что он чувствовал корни волос. Он увидел свое тело, распростертое на кровати. Согнул руку и с удовольствием отметил, как вздулся рукав рубашки под напором бицепса.

«Все же крепкий я мужик, – подумал он. – Вот уже и здоров!»

Он согнул правую ногу. «Э, нет! Больно. Не так, как вчера, но еще есть. Ничего, завтра все будет в норме».

Он посмотрел вокруг. Веселенькая палата: белоснежные стены, печка-голландка, в углу – сверкающая лампа-соллюкс. Ого! Барсуков только сейчас заметил, что находится под внимательным наблюдением четырех голубых глаз. Встретившись с его взглядом, одна пара глаз юркнула под одеяло, а другая весело ему подмигнула. Обладателем ее оказался плешивый дед с громадной седой бородой. Подмигнув Барсукову, он выпростал из-под одеяла костлявые свои ноги, сел на кровати, завязал тесемки кальсон, сощурился на солнце, чихнул и сказал:

– С погодкой вас! Здравствуйте!

Затем сунул ноги в шлепанцы, встал во всем своем непотребном виде, вытаскивая из бороды запутавшийся в ней большой, с пол-ладони деревянный крест.

– Что, дед, из раскольников сам будешь? – спросил Барсуков.

– Из них, – охотно ответил дед. – Только еще во младости лет, как папаша на меня епитимью наложил, так я из дому и шастнул. Очень уж до гулянок я был охоч.

– И водку пил?

Старик захихикал, крутнул головой, махнул рукой на Барсукова:

– С малолетства.

– А кой же тебе годок?

– Девяносто третий.

– В больнице, чай, впервой?

– Впервой, и то, видишь, фельшар повалил глисту гнать широкую. Не распространяй, говорит, эпидемию, Малофеич.

Барсукову стало весело. Хороший дед, крепенький, как дубок, и весь лучится доброжелательством! Вскоре поднялись и другие соседи по палате: мрачноватый молодой детина и второй обладатель голубых глаз – мальчик лет двенадцати. Дед Малофеев отдернул шторку.

– А вон и наша Вера Ивановна бежит. Красивая девушка, – вздохнул он.

Барсуков поднялся на локте и взглянул в окно. По березовой роще бежала, прыгала через лужи Вера Ивановна в очень модном открытом платье с яркой пляжной сумкой в руке. Ее раскрасневшееся лицо с блестящими глазами было очень молодо. К ней, подхалимски крутя хвостом, бросился прижившийся при больнице пес Степка. Приподнял картуз кучер Володька Никанорыч.

Ей было весело сегодня, казалось, что этот день будет необычным и что сегодня что-то изменится в ее однообразной жизни. Вера Ивановна работала самозабвенно, стараясь не вспоминать то, от чего отказалась, уехав сюда. Свою работу она любила больше всего. С утра до ночи в бегах. Больница, амбулаторный прием, вызовы, снова больница... Старики, дети, роженицы... Катары, пневмонии, переломы, дизентерия... Фонендоскоп, шприц, скальпель... Это сейчас составляло ее жизнь. Она не чувствовала себя отверженной, она была счастлива

и писала домой восторженные письма. Но по вечерам, когда она видела на реке движущиеся огни «Онеги» – горящее чудо с зеркальными стеклами, с волнующим джазовым басом, – ей хотелось крикнуть:

«Подождите! Возьмите меня с собой! Я хочу быть с вами, стоять на палубе, танцевать под этот рокочущий ласковый бас. Ведь я еще молода. Остановитесь! Сейчас я плыву к вам. Подождите!»

– Здравствуйте!

Вера Ивановна, затянутая в белый халатик, появилась в дверях палаты и сразу подошла к постели Барсукова.

– Ну, сегодня нам лучше? – профессиональным тоном спросила она.

– Благодарю, лучше, Вера Ивановна, – сказал Барсуков, и в глазах его мелькнули иронические искры. Черт возьми, точно такую же девчонку в Москве он называет Ленкой, и это она, его дочь, а здесь вот стоит Вера Ивановна, просто доктор.

Вера Ивановна присела на его постель, взяла пульс. Ей было немного не по себе: таких больных она еще не знала. Здешние жители: лесорубы, рыбаки, трактористы – не видели многоэтажных клиник, седобородых профессоров, сложной аппаратуры. Они верили ей, докторше из Ленинграда, и испытывали магический страх перед трубочкой фонендоскопа.

– Доктор, – сказал Барсуков, – я почти здоров. У меня к вам просьба. Дело в том, что товарищ Сбигнев – кажется, так? – обещал мне устроить связь с Москвой. Я попрошу вас позвонить ему и сказать, чтобы мне сюда поставили телефончик.

– Это невозможно, – ответила Вера Ивановна.

– Почему?

– Во-первых, вам сейчас нельзя не только говорить по телефону, но даже и приподниматься. Еще неизвестно, может быть, у вас был инфаркт. Завтра Сбигнев даст машину, и мы съездим в район за электрокардиографом, проверим. А во-вторых, здесь же другие больные, вы должны понять.

Барсуков обозлился. Какой инфаркт? Что она, с ума сошла? Это же значит сорок дней лежать неподвижно. Здесь? Мысль о том, что он не сможет сделать доклада о своей поездке на коллегии министерства в следующий четверг, была ему невыносима.

– Да вы что? Инфаркт? Чепуха! – сказал он грубо. – Вы вот что... Когда «Онега» идет обратным рейсом?

– Дня через три будет здесь.

– Ну, вот что, забудьте вы о всяких там инфарктах и лечите-ка меня от ревматизма в ударном порядке. Салицилку в вену начинайте колоть. Прекрасный метод, мне в сорок втором делали на Чукотке.

– Нет, в вену не будем: в сорок втором у вас сердце было другое. Как вы не понимаете? Вы тяжело больны... Крупозная пневмония, обострение полиартрита плюс подозрительные явления со стороны сердца. По инструкции...

Барсуков вспылил окончательно. Она еще берется судить, какое у него сердце! Во всяком случае, оно не боится инструкций. В глубине души он понимал, что ведет себя нелепо, и подетски, но все-таки закричал:

– А как вы не понимаете, что мне в следующую среду необходимо быть в Москве? По делу большой государственной важности!

Вера Ивановна густо покраснела, но сказала твердо:

– Это совершенно невозможно, я не могу рисковать.

– Бойтесь ответственности? Я вам расписку дам! Вы еще молоды, а уже... – Он хотел сказать «трусливы», но сдержался.

«Действительно, черт побери, ты себя не щадишь, горишь – да-да! – на работе, а как часто приходится сталкиваться с косностью, равнодушием, трусостью! Замыкаются люди в своей специальности и боятся нос высунуть дальше рамок циркуляра. И эта девчонка ни черта еще не понимает, а бумажек уже научилась бояться».

– Я требую! – начал он.

– Успокойтесь, больной! Нюра, сними с больного рубашку, – хладнокровно сказала Вера Ивановна.

Оставшись без рубашки, Барсуков закрыл глаза в бессильной ярости. И вновь по его телу умиротворяюще поползли прохладные пальцы, мягко уперлась в ребро трубочка.

После обхода к нему подсел дедушка Малофеев:

– Ты, слышь, как звать-то тебя?

– Максим Сергеевич.

– Ты вот что, Сергеич, характер свой Вере Ивановне не показывай. У нас этого не дозволяется. Мужик ты, видать, справедливый, да заносчивый. Так вот, норов свой прячь: она тебе добра желает.

– Да дело-то, дед, государственное!

– Ничего, дело и без тебя пойдет, не пропадет государство наше. Куды ты сейчас поедешь на таких ногах? А Вера Ивановна, вон, видишь, – дед кивнул на окно, – на прием уже побежала, в амбулаторий, а там у нее дитят больных куча визжит. Мужики говорят, у ей в Ленинграде папаша, может, чуть помене тебя шишка. Могла дома прохладиться, а вот приехала к нам в пустыню. Бескорыстная женщина!

– Идеализируете вы ее! – с досадой сказал Барсуков.

– Это верно, – охотно согласился дед.

Весь день Барсуков провел в терзаниях. Он знал, что его сомнения необоснованны, что Семенов все выполнит отлично, что коллегия может пройти и без него – доклад он составил еще в Петрозаводске, и что престиж ничуть не пострадает от его отсутствия, но такова уж была его закваска, закалка 20-х годов: отдаваться делу целиком, самому доводить все до конца, жать вперед, не обращая внимания на недуги свои собственные и окружающих. Мысль же о том, что он может на сорок дней оторваться от своего дела, выводила его из равновесия.

А за окном лениво плыл жаркий деревенский день. На реке перекликались бабы, стирающие белье. Пес Степка исправно отгонял коров от больничного палисада. В палату залетали бабочки.

К вечеру снова пришла Вера Ивановна, нерешительно подошла к Барсукову. Он лежал на кровати огромный, сопел носом, молчал. Вдруг загорелись лампочки – Сбигнев сдержал слово.

На следующий день приехал из районного центра молодой чернявый врач с аппаратом. У Барсукова сняли электрокардиограмму. Спустя некоторое время в палату вошла Вера Ивановна и сообщила, что, к счастью, ее опасения не оправдались: в стенке миокарда существенных отклонений от нормы нет.

– Я так и знал! – сердито буркнул Барсуков и закрыл глаза.

Он был рад как мальчишка и, когда Вера Ивановна ушла, даже замычал себе под нос какой-то мотивчик.

Вечером с почты прибежала девушка, принесла телеграмму: «Обеспокоены состоянием вашего здоровья. Пятницу вам вылетает профессор Казин. Доклад получен, поздравляем результатами. Нестеренко». Барсуков бодро черкнул ответ: «Необходимости приезде профессора нет. Дело идет на лад. Барсуков».

Как хорошо жить, когда в стенке твоего миокарда нет существенных отклонений от нормы, когда можно ворочаться в постели как хочешь! Взял, например, и перевернулся на живот, смотришь в окно на реку, по которой пробегают самоходки, на раскинувшуюся в отдалении ширь озера, на березы, залитые красноватым светом заката. С докладом все в порядке.

Семенов, надо думать, добавил в устной форме все, что полагается. В конце концов, даже неплохо поваляться здесь с недельку, подлечиться, успокоить нервы, а то стал давать такие срывы. Нехорошо получилось с Верой Ивановной: накричал, нагрубил. Надо будет извиниться. Но все-таки в принципе он прав: бездушная она, по всей вероятности, особа. Да, он вспылал, но она-то... Инструкция! И не верит он в ее святость. Раз сидит здесь, значит, корысть какую-нибудь имеет. Периферийный стаж для аспирантуры или что-нибудь еще. Такая красotka! Молодежь теперь совершенно другая, уж это-то он знает. Расчетливые какие-то, трезвые, практичные. Размаха нет, широты взглядов, кипения. Мы старики, а моложе их. Тот же Нестеренко – вулкан, а не человек. А они? Даже его Ленка, уж на что милая девушка...

Барсуков брезгливо поморщился, отгоняя от себя воспоминание о том, как он по просьбе Лены «нажимал на педали» перед ее распределением. Отогнал – и успокоился и стал вспоминать прошлое: отряды ЧОНа, своего друга Леньку, раненного пулей из обрезка, погони и пожары.

Наш паровоз, вперед лети,  
В коммуне остановка... —

пропел он и смущенно кашлянул.

Другого нет у нас пути,  
В руках у нас винтовка, —

услышал он за спиной тонкий голос. Обернулся и увидел своего соседа по палате, мальчика Толю, который пел, блестя своими голубыми глазами.

Прошло десять дней. За это время Барсуков окреп, боли в суставах почти прошли. К концу срока он уже начал с палочкой совершать прогулки до берега и обратно. Вера Ивановна через день просвечивала его на рентгене, следила за тем, как рассасываются в легких пневмонические фокусы. Она была довольна обратным ходом процесса. Барсуков безмятежно отдыхал, вел длинные беседы с мудрым дедом Малофеевым, который, изгнав своего широкого лентца, приходил теперь каждый вечер «проведать Сергеича»; пел песни с Толей, читал толстый современный роман «Зори весенние» и удивлялся: до чего ж нудно пишет, бес! Несколько раз навещал его Сбигнев, осведомлялся, не нужно ли чего, извинялся за неудобства, намекал на неуступчивый и зловредный характер Веры Ивановны, а в последний раз завел дипломатический разговор о нуждах местной пристани, о нехватке того и сего. Единственное, что раздражало в это время Барсукова, – это холодно-вежливое обращение Веры Ивановны, ее каменное лицо в разговорах с ним. Она, видимо, сложила о нем определенное мнение. Он видел, что девушка все дни крутится как белка в колесе, слышал рассказы больных о ее добрых делах и злился, не имея возможности к чему-либо придраться. Ленушка хоть откровенна, а эта притворяется, корчит из себя добрую фею здешних мест. Ханжа! Порой он чувствовал, что несправедлив, что виноват перед ней, но и это неосознанное чувство вины тоже вызывало раздражение. Он старался быть равнодушным, не думать о ней, но каждое утро со странным чувством смотрел в окно, ждал, когда замелькает среди берез яркое платье и пляжная сумка. «Что за блажь? – удивлялся он. – Вот уж поистине седина в бороду, бес в голову!» С женщинами у Барсукова всегда были простые, благородные отношения, которыми он гордился. Он презирал и ненавидел престарелых ловеласов. Он или любил женщин всем сердцем, как свою покойную жену, или относился к ним равнодушно. Сейчас Максим Сергеевич растерялся: он не мог разобраться в своих чувствах к Вере Ивановне. Да уж не... Она же ровесница Ленки! Чепуха!

В конце недели вдруг резко переломилась погода. Завыл северный ветер ошеломляющей силы. Он гнал в реку огромные массы воды, строчил короткими очередями дождя, вселял тоску в души людей. В такую ночь приятно лежать на койке в теплой, хорошо освещенной комнате, вести неторопливый разговор. Барсуков сегодня был доволен: ему удалось наконец разговаривать с молчаливым детиной, соседом по палате. Это был Вейно Хемонен, карел. Оказалось, что он в свои 24 года страдает язвой желудка.

– Как же это ты успел нажить такую роскошь? – удивился Барсуков. – Водку хлестал?

– Нет, я непьющий, – ответил Хемонен. – Лесной я человек, третий год в лесу сижу. Питание плохое, консервы да консервы...

– А что ты там делаешь, в лесу?

– Газочурку сушу для дизелей. Ребятишки пугаются, думают, леший, а я школу механизации окончил.

– Да ну? Что ж ты этим занялся? Или нравится?

– Не нравится. Начальство посадило. Надо же кому-то газочурку сушить, трактористам помогать! Тракторы встанут – как лес на сплав вытащишь? А лес наш – слышали? – на экспорт идет во все страны! За него нам золотишком платят.

Барсуков изумился: какой же государственный размах мысли у этого на первый взгляд дремучего парня!

Порывы ветра становились все сильнее. Под их ударами старенькое здание больницы поскрипывало, дребезжали стекла. Вдруг погас свет.

– Провода сорвал, – заметил Хемонен.

Барсуков распахнул шторку, и ему стало жутко.

По черному небу стремительно неслись серые рваные тучи. В прорывах туч мелькала полная луна, озаряя все нереальным, зловещим светом. Березы угрожающе раскачивались, а река... Река была здесь, до странности близко. Она вздулась, выгнула хребет, шевелилась, как громадное чешуйчатое пресмыкающееся. По ее спине прыгали маслянистые холодные лунные пятна, она, казалось, надвигалась на больницу.

– Большая вода будет. Как бы не затопило нас, – озабоченно пробормотал Хемонен.

Барсуков взял костыль и пошел в дежурку, натываясь в темноте на кровати. Дежурная сестра Клава сидела за столом и спокойно читала при свете керосиновой лампы.

– Клава, где Вера Ивановна? – спросил Барсуков.

– Дома, она сегодня отдыхает.

– Вот что, нужно эвакуировать тяжелых и новорожденных. Звоните-ка на пристань! – властно сказал он.

– Почему? Вы думаете... Что вы, Максим Сергеевич, у нас такая погода часто бывает. – Все же она взяла трубку, начала кричать «алло, алло», потом повесила. – Не отвечают, станция не отвечает.

Клава прикрыла лампу газетой, отдернула шторку и ахнула. Волны уже плясали свой дикий танец среди берез, метрах в десяти от больницы. Она схватила платок и выбежала на крыльцо. Здесь она увидела, что вода окружает больницу со всех сторон. Надсадно выл ветер, хлестал в лицо пригоршнями капель. Клава бросилась назад, схватила за руку Барсукова:

– Господи! Максим Сергеевич, что делать, миленький? Что делать?

В минуты опасности, а их было немало в его жизни, Барсуков сразу внутренне мобилизовывался. Мозг начинал работать холодно и четко, как механизм, тело становилось гибким. Он любил такие минуты. Быть может, они и есть квинтэссенция жизни.

– Вот что, – сказал он. – Нужно зажечь все лампы, какие есть. Лежачих и родильниц мы перенесем на чердак. Вейно, беги, пока не поздно, за лестницей.

На чердак можно было попасть только снаружи, приставив лестницу к крыльцу. Вслед за Хемоненом он вышел на крыльцо. Луна в этот момент спряталась. В кромешной тьме сквозь

вой ветра он услышал плеск. Это шел Вейно с лестницей на плечах. Вода уже заливала Барсукову подошвы. Подумав: «Эх, черт, все лечение насмарку!» – он шагнул с крыльца и оказался почти по пояс. Холод мгновенно пронизал всю нижнюю часть тела.

– Вейно, где ты? – крикнул Барсуков гулким басом.

А в это время по ревушей, разлившейся уже на несколько километров и затопившей почти весь поселок реке мчался катер. На носу его стоял в развевающемся резиновом плаще Иван Сергеевич Сбигнев. Видимо, в каждом из нас спит до поры до времени бесшабашный морской бродяга, тот, что в детстве пускал по лужам кораблики и сколачивал плоты из досок забора. Бесстрашный этот сорвиголова проснулся, очевидно, в этот час в запуганной и зябкой душе Ивана Сергеевича. Он мог бы находиться в рубке вместе с рулевым, но он стоял на носу, мокрый и поразительно возбужденный.

Катер, лавируя между затопленными березами, приближался к больнице. Матрос шарил шестом дно. «Стой!» – заорал он вдруг. До больницы было метров пятнадцать. Осветили прожектором здание, и в желтом дрожащем свете Сбигнев увидел товарища Барсукова, Максима Сергеевича, по пояс в воде, с табельщицей Манькой Крюковой на руках. «Эх!» – отчаянно крикнул Сбигнев и вдруг прыгнул в воду, захлебнулся, встал – по горло – и пошел к больнице, подгребая руками.

В полчаса погрузка больных была закончена. Тяжелогруженный катер медленно выбирался из березовой рощи. Барсуков закричал в ухо Сбигневу:

– Где Вера Ивановна, что с ней?

– У Киреевых она живет, за школой, – ответил вместо Сбигнева матрос. – Лодки у них нет, вот беда! Может, на крыше сидят, а может, утопли.

Барсуков затряс его с бешеной злобой:

– Я тебе покажу утопли! Заворачивайте!

Катер пошел к поселку по тому месту, где раньше была мощенная булыжниками дорога. Зажгли прожектор. Он осветил рыхлое, зыбкое водное пространство. И вдруг Барсуков увидел на гребне волны взметнувшуюся руку и вслед за тем очень отчетливо белое, искаженное судорогой лицо с открытым ртом. Не помня себя, он бросился в воду.

Когда их втащили на борт, Вера Ивановна, стуча зубами, проговорила:

– Все целы? Слава богу! А я бегу, бегу... Вижу, дна нет!.. Поплыла... Ничего... У меня третий разряд по плаванию... Все равно доплыла бы...

Катер вышел на большую воду и, тяжело качаясь, пошел туда, где маячили огни судов, собравшихся к поселку по сигналу «SOS». И вновь на взметнувшемся гребне волны люди с катера увидели одинокого пловца. Это был больничный кучер Володька Никанорыч. Сейчас он сидел в своей уютной лодочке, как бы высеченной из камня, словно вспомнил, что является потомком мужественного племени охотников и рыболовов, издавна обитавшего на этих суровых берегах. Ему закричали с катера, но он махнул рукой и налег на весла. Он шел на спасение пегого жеребчика Васьки, про которого, конечно, в сутолоке забыли. Ведь тот был государственным имуществом и одновременно его лучшим другом.

Барсуков взглянул на Веру Ивановну, на ее мокрое лицо с горящими глазами, и ему показалось, что он понял ее сущность. Ведь она переживает сейчас минуты, которых, наверное, ждала всю жизнь. Она просто-напросто романтически настроенная девчонка. И от этого открытия ему стало весело и тепло на душе. Он обнял ее за плечи, прижал к себе и пробасил:

– Замерзла, дочка?

К утру ветер утих, вода заметно пошла на убыль. В небе повисли вертолеты, по поселку сновали военные машины-амфибии. Размеры бедствия оказались невелики, человеческих жертв не было. В тех местах при каждом дворе имеется одна, а то и две лодки.

Барсуков собрался уезжать. Вечером за ним должен был прибыть катер из Ленинграда. Максим Сергеевич шел по деревянным мосткам вдоль улицы, направляясь в амбулаторию прощаться с Верой Ивановной. Поселок жил своей обычной жизнью. Страшная ночь была давно забыта. Бабы гоняли гусей, визжали на реке ребяташки, гудел паром, перевозивший людей и скотину.

Больницу пришлось закрыть на ремонт. Временно 20 коек было развернуто в школе. Амбулаторию почистили и подкрасили сразу после наводнения. И вот Вера Ивановна снова сидит за своим столом и читает газету. Больных нет: начался покос, не до болезней. Перед ней «Вечерний Ленинград». В углу петитом: «Временное изменение трамвайного движения. К сведению граждан. В связи с ремонтом рельсовых путей маршрут № 18...» Маршрут № 18! Сколько на нем езжено-переезжено! Вот он идет по набережной Карповки, заворачивает на Петропавловскую... Здесь они ездили с Юркой, здесь же они и поругались. Окончательно! Навсегда! И он уехал в Якутию, а она – сюда... И ей уже двадцать четыре года. А через семь месяцев будет двадцать пять. И от Юрки нет писем...

Вошел Барсуков, взял газету, понимающе кивнул, взволнованно зарокотал:

– Слушайте, девочка. Сегодня я уезжаю. Поедте со мной, а? Ну, я понимаю: молодость, романтика, мечты... Но хватит! Вам здесь не место. Я помогу вам устроиться в Ленинграде в клинике, будете заниматься наукой, как моя Ленка. Это ведь тоже очень увлекательно.

Вера Ивановна удивленно подняла брови.

– Что вы, Максим Сергеевич, как я могу сейчас уехать? Бросить все?

Она помолчала и тихо добавила, глядя ему прямо в глаза:

– А вы знаете, что до меня здесь два года не было врача? Приедет гастролер на месяц-другой – и нет его. И два года люди ходили к малограмотному фельдшеру. Разве это возможно в наше время, чтобы одних лечили кобальтовой пушкой, а других – клистиром?! Ведь эти люди своими руками... Вы сами все прекрасно понимаете. Прощайте, Максим Сергеевич, буду вам писать.

Барсуков широко шагал по улице, зло ругал себя. Что толкнуло его на эту невольную провокацию? Желание помочь Вере? Нет! Он знал, какой получит ответ. Нет, видно, он все же хотел его получить, чтобы наконец все понять. Эта девочка не только романтическая особа. Она, как видно, твердо считает себя подвластной долгу так же, как этот карел Вейно, как и он сам, Барсуков.

1959

## Асфальтовые дороги

Ему было двадцать пять лет, и он ничего не умел делать. Не умел читать чертежи, выписывать рецепты, делать интегральные исчисления, лепить бюсты – словом, за четверть века он не сумел научиться тому, что должны к этому возрасту уметь молодые люди «из интеллигентных семей». Так думали его родители. Сам он иначе оценивал прожитые годы. За его плечами была армия, три года службы. Сорокакилометровые переходы, заплывы в полном снаряжении, ночные марши-броски – это что-нибудь да значит! Он узнал запах рабочего пота и настоящий вкус еды. У него были теперь сильные руки, мощные легкие и свежий мозг.

Глеб Поморин чувствовал уверенность в своих силах, и будущее открывалось перед ним, как залитая солнцем, кинжально-сверкающая после летнего ливня пересеченная местность. Ее нужно одолеть одним махом. Перебежками. По-пластунски. Прыжками через размытые траншеи. И в штыки, во весь рост!

Родители пытались разбить его уверенность. Отец говорил речи: называл имена, цифры, оклады, ставки, рассказывал о сложных, непонятных отношениях. Мать, вздыхая, поведала ему о судьбе его однокурсников. Подтекст этих разговоров был ясен: жизнь, Глебушка, это тебе не армейские тренировки. Но дни, эти первые дни после возвращения, были по-весеннему суматошны, звуки родного города волновали сердце, и Глеб, выходя на улицу, сразу забывал нудные семейные чаепития.

Телефоны не отвечали или отвечали не то, что ждал от них Глеб. Кто-то женился, кто-то обменял квартиру, большинство уехало. Где вы теперь, мальчишки? Кирилл, Герка, Миша? Странно, прошло каких-то три года, а вот такие перемены. Рассеялись его друзья; исчезло то, что казалось таким прочным; куда-то разбрелись люди, без которых он не мыслил свою штатскую жизнь, своего города, Невского проспекта, весенних многообещающих вечеров.

Значит, все это было только игрой? Времяпрепровождением? Мальчишки стали взрослыми и, моментально забыв свои пустяковые дела, занялись тем, что сейчас им представляется серьезным и важным. Так в детстве от оловянных солдатиков переходят к «конструктору». Да, это так, если судить по себе.

После армии действительность раскрылась перед ним в новом, громадном значении. Раньше жизнь шла где-то стороной и казалась расплывчатой, как тени, мелькающие за шторкой кафе. Общество – десяток телефонных номеров. Интересы – «бугешник», записанный на рентгеновской пленке, потрясающая блондинка, головокружительная вечеринка на даче в Репине. Вкусы, взгляды... Он улыбнулся, вспомнив свои стихи:

...я хочу любить марсианок  
знойной силой земной любви.

Вспоминались восторженные вопли приятелей. Споры до бешенства, до драки на первой выставке Пикассо. И снова кафе, дача. Бесцельное шатание по Невскому до ряби в глазах, до ломоты в костях. Выспренные разговоры об искусстве. Бледный рассвет, горечь во рту, пепельница, утыканная окурками, похожая на взбесившегося ежа. Верно, что жизнь развивается диалектически, скачкообразно. Развязка пришла неожиданно, как нападение из-за угла. Декан не знал подробностей, он сделал вывод на основании безжалостных данных зачетки. Переполох в семье, переполох в душе. Темные углы военкомата. Страх. Грохот эшелона. АРМИЯ! Нет, только добрым словом будет он вспоминать эту трехгодичную закалку сердца, воли, мышц. Кем он стал? Чудеса, да и только! Где его богемная бледность, мешки под глазами? У него лицо коричневого цвета и выгоревший бобрик каштановых волос. Где его чахлая спина, хлипкий задик, привыкший к мягким креслам? Где слой нездорового жира? У него только кости

и мускулы, а на широком плече болтается армейский мешок с нехитрым барахлишком. И так, телефоны не отвечают. Ну и ладно! Город стоит в преддверии белых ночей. Начинается БУДУЩЕЕ.

Глеб Поморин, гулко стуча сапогами, дымя папиросами «Звездочка», пересекает Чкаловский и выходит в толчею Большого проспекта.

Это случилось сегодня утром. Отец отложил газету и сказал:

– Ну-с, Глеб, как планируешь будущее?

У него отсвечивали стекла очков, и Глеб вдруг как-то особенно четко ощутил, что его отец – видный юрист.

– Думаю работать, папа. И учиться. Общаться с людьми, с книгами, мыслить.

– Это все общие слова. Конкретней; где работать, где учиться?

«Чертов старый сухарь», – тепло подумал Глеб.

– Где работать буду, еще не решил, а учиться... Хочу поступить опять на филологический. На вечернее, конечно.

– Но почему же, Глебушка, на вечернее? – тихо спросила мать. – Мы бы уж как-нибудь протянули тебя еще пять лет.

Отец пыхнул трубкой, промолчал. Глеб улыбнулся.

– Хватит вам меня тянуть, мамочка, сам вытянусь.

Резко хлопнув ладонью по столу, вмешался отец:

– Брось это мальчишество! Тебе не восемнадцать лет, и ты прекрасно знаешь, что зарабатывать себе на жизнь и овладеть специальностью невозможно! Это все разговорчики для наивных! Сотней больше, сотней меньше, но ты все равно будешь на нашем иждивении, если хочешь иметь диплом! А диплом необходим, это хороший щит. Жизнь, мой мальчик, – запутанная, утомительная и опасная штука.

– Федор, зачем ты внушаешь ребенку такие мысли?

– Он должен знать, иначе...

– Глупости! – запальчиво воскликнул Глеб. – Ты думаешь, жизнь – это твоя консультация? Жизнь запутанная, сложная... Но это же интересно! Я не боюсь ее. Буду работать. – Он замолчал и обвел глазами комнату.

Как здесь красиво, привычно! Каждая вещь связана с детством, со всей жизнью. Он хотел сказать отцу, что, кроме житейских дрызг и юридических закавык, в мире есть еще кое-что. Лунные пятна в березовой роще, дрожащий огонек спички в крепких ладонях друга, какая-нибудь простецкая песенка, стихи, продирающие морозом по коже...

– Видишь ли, папа, у меня есть планы, о которых пока не хочу говорить. Чтобы осуществить их, надо быть в гуще людской. Поэтому я и ухожу.

Он прошел в свою комнату и вернулся в старой солдатской форме. Поцеловал мать, подошел к отцу.

– Будет трудно – все-таки возвращайся, – ворчливо сказал отец.

Глеб пробирается к щиту «Ленрекламы». И так: «...две сугубо смежных», «...две в разных концах», «...продаются щенки эрдельтерьера», «...обучаю слепому десятипальцевому методу...» Ага, вот, «требуются»...

На следующий день Глеб уже работал на асфальтовом покрытии улиц Выборгской стороны, разгребал пористую черную массу, трамбовал ее ручным катком. Он оставлял за собой гладкую поверхность, которая дымилась, как брюки во время утюжки. Его рюкзак висел теперь над койкой в холостяцком общежитии. Соседи, четверо горластых парней, первое время как бы не замечали его, стучали в «козла», стакан за стаканом дули свирепый кипяток, который называли «белая ночь», закусывали колбасой и пряниками. Глеб понимал, что это невнимание

нарочитое и парни на самом деле цепко держат его под наблюдением, но сам не решался завязать разговор, переступить грань, боясь сбиться на фальшивую ноту. Так всегда бывает, когда в обжитую, прокуренную комнату вваливается посторонний с неизвестными привычками, полностью незнакомый, вызывающий любопытство. Черт его знает, какими путями ходил он по миру, что его занесло в эту комнату, как он себя поведет и что это он там припиливает к стенке!

– Чей портретик-то, солдат? Извиняюсь, – прогудел низкий голос. – Знакомая как будто личность.

Возле кровати Глеба стоял, засунув руки в карманы, высокий рыжий парень в голубой майке.

– Это Александр Блок, – осторожно ответил Глеб. – Поэт такой был.

– Знаю Блока, хороший поэт.

...Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

– Здорово! А я Маяковского уважаю. Никого больше не признаю, – заносчиво заявил, мотнув смешным хохолком, сидящий за столом юнец.

Так неожиданно Глеб был вовлечен в спор на любимую тему и еще раз понял, что не нужно подбирать ключи и приспособливаться и что лучший способ вступать в общение с людьми – это умение быть самим собой.

Утром его огрели подушкой, и кто-то над самым ухом проорал:

– Глебка, подъем!

Они работали в разных бригадах и встречались только по вечерам. Четыре вечера в неделю Глеб читал книги, статьи, зубрил английский по программе вуза. Ребята, узнав о его намерении держать экзамены в университет, «создавали обстановочку»: «козлиные» побоища были перенесены в красный уголок. Глеб сидел на койке, шептал английские идиомы, чертыхался и в конце концов доставал свой старый блокнот, просматривал записи. Здесь были веселые нелепицы, крутые словечки, цветистые метафоры, когда-то и где-то пришедшие в голову, целые сцены, рассказы бывалых. Перечитывая, он приходил в возбуждение; все это сплеталось вместе, вовлекалось в бешеную работу мозга, и казалось, вот-вот возьмись за перо – и польется готовая, отточенная продукция.

В такие минуты Глеб вскакивал с койки и уходил шататься. Шел пешком с Выборгской в центр.

Он никак не мог находиться по Ленинграду. Теперь, после долгой разлуки, город раскрывал ему свои тайны. Когда ежедневно проезжаешь по примелькавшимся улицам, здания, мосты, монументы теряют свое исходное значение и оборачиваются другой, обыденной стороной. Ну вот, например, Инженерный замок. Трамвайная остановка, следующая – Невский. Сейчас Глеб смотрел на это странное сооружение, на тусклое свечение шпиля и думал: вот логово бесноватого тирана, – и в ушах его стоял пронзительный, как экзекуция, свист флейты, и ему чудились механические взмахи сапог под крутящимся, как на шарнирах, стекловидным глазом императора.

Все его прогулки заканчивались всегда в одном месте. Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля. В ней отражается семиэтажная старая громадина. Через час начнут зажигаться окна, и может быть, осветится окно на четвертом этаже, возле водосточной трубы? Там в прихожей есть телефон. Единственный знакомый телефон, который он не потревожил после возвращения. Можно хоть сейчас зайти в подъезд и набрать номер. И услышать... Ну, наверное, удивленный голос скажет: «Таню? Она здесь не живет. Что? Вышла замуж и пере-

ехала». Конечно, переехала: у них ведь тесновато. Может быть, даже в другой город. Неужели даже в другой город? Нет, он не будет звонить: это страшно.

Шел май, и в шуме и блеске его трудового дня Глеб забывал черные воды канала и окно возле водосточной трубы. Все шире разливались по Выборгской асфальтовые реки, окружая заводы, прорываясь в кварталы новых домов.

– Все же мне больше нравится дома строить, – говорит рыжий Сергей, – каменщиком стану непременно. И тогда... Хочешь, тайну открою, Глеб?

– Ну? – улыбается Глеб.

– Знаешь Нинку с третьего этажа? Видная такая брюнетка. Заберу ее и в Башкирию подамся, в нефтяные районы. Что нам здесь болтаться – ни кола ни двора, а там, говорят, такие коттеджи строителям выделяют – будь здоров!

– А она согласна?

– Ну! Просто в восторге! – Он понизил голос. – Хорошая она дивчина, скажу тебе по чести.

Подошедший Юрка уловил последнюю фразу, заржал:

– Ну и ребята у вас будут, Серега! «Красное и черное» – кино такое есть. Умру!

О тайне Сергея и Нины знало все общежитие.

– Иди ты к дьяволу! – добродушно говорит Сергей и уходит, втайне довольный; он любит разговоры на эту тему.

Юрка занимает его место:

– К Нинке побежал, пропал совсем парень, а вначале, знаешь, нам все травил: по комсомольской линии, говорит, знакомство вожу. Да, как дела, Глеб?

У Глеба сегодня превосходное настроение. Он был у декана, и тот сказал ему; «Три года назад, дружок, когда ректор подписал приказ о вашем исключении, я надеялся, что вы снова к нам придете. Очень рад, что не обманулся».

– Отличные дела, Юрик, превосходные! Скоро на пляж мы с тобой поедем.

Они сидят в коридоре на подоконнике. Солнце ласковым жаром навалилось на их плечи, пронизало волосы. На улицах шалил еще ладожский ветерок, но здесь, на подоконнике, действительно создавалось пляжное настроение.

В конце коридора показалась высокая мужская фигура. Какой-то денди шел по общежитию – черный костюм, снежно-белая рубашка, сверкающие остроносые башмаки. И прежде чем Глеб узнал это загорелое лицо, эту неторопливую, уверенную походку, вошедший поднял руку с растопыренными пальцами.

– Глеб!

– Герка!

Они бросились друг к другу, обнялись.

– Как ты меня нашел?

– Твои старики дали мне след.

– Давно вернулся?

– Да, я здесь уже несколько месяцев.

Герка огляделся, неопределенно хмыкнул.

– Вот ты, значит, где закопался! Неплохо. Ну, – он отодвинулся от Глеба, осмотрел его с головы до ног, – молодчага, выглядишь первоклассно. Служба пошла тебе впрок.

– Тебе как будто тоже.

– Собирайся, дружище, о многом надо потолковать. А?

Одеваясь, Глеб пытался разобраться в своих чувствах. Радость? Конечно, подумать только!.. Герка, Геракл выплыл из небытия. Приплелся откуда-то из прошлого своей развращенной походкой, поднял лапу, и как будто не было этих трех лет, как будто не выгоняли их обоих из университета, как будто вот сейчас они сядут в Теркин «Москвич» и покатают куда-

нибудь к Кириллу, у которого уже собрались ребята, кто-то тихо бренчит на пианино, а Таня стоит у окна со своим странным, отчужденным видом. Ага, вот почему приход Герки вызвал у него какую-то смутную тревогу и неприязнь, да, пожалуй, неприязнь. Таня стояла между ними всегда, загадочная Таня, которая проводила время в их компании, но не давала к себе притронуться. И еще было что-то, что мешало им по-настоящему сдружиться, может быть, даже более важное. Всегда, когда они начинали спорить, дело доходило чуть ли не до драки. К счастью, спорили они тогда мало. Но вот прошло три года, и если Герка так же изменился, как он... Это даже любопытно.

Когда они вышли из подъезда, Глеб вздрогнул: напротив в тени стоял серенький «Москвич».

– Узнаешь старую лошадь? – засмеялся Герка. Он вел машину, как и раньше, уверенно и небрежно, одной рукой поворачивая баранку.

– На днях новую получаем. Папаша тут время даром не терял: квартиру получил и все такое. Кури!

Он протянул Глебу хрустнувшую целлофаном пачку «Пелл Мелл».

– Откуда это у тебя? – поинтересовался Глеб.

– Снабжает тут один деятель.

По Гренадерскому мосту они пересекли Большую Невку, выехали на Кировский и помчались к Неве.

– Куда везешь ты меня, Геракл, уж ли на Невский?

– Невский проспект, Невский проспект, сколько приятных лиц...

– Помнишь, черт?

– Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, сколько дам и девиц...

Они посмотрели друг на друга и расхохотались.

– Ты видел кого-нибудь из наших?

– Здесь никого нет, все разъехались, одни мы с тобой остались, Глебка.

– А сигареты приятные. О Кирилле ничего не слышал?

– Эй! Сумасшедшая тетка, лезет под колеса. Кирилл? Где-то на Урале, многотиражкой ворочает. Неплохо мы жили, правда?

– Что ты говоришь? На Урале? Не думал, что Кирилл с места сдвинется.

– Ну! Я тебя больше удивлю: Мишка, наш Майкл, учительствует на Камчатке. Пишет, что доволен жизнью. Знаешь английскую поговорку: если не можешь заниматься тем, что любишь, полюби то, чем приходится заниматься. Что-то в этом роде.

– Брось трепаться, я понимаю Мишку. Представь: Камчатка, школа, затерянная в сопках, олени тропы, просторы какие!

– Ложная экзотика! Ты всегда был... Смотри, таксёр, зараза, на обгон идет. Эх, ловкач! Помнишь парней из медицинского, Владьку, Лёху Максимова? Вот где экзотика – устроились врачами на суда дальнего плавания.

– Это здорово, но, между прочим, для врача погибель: работы-то нет никакой. Вот нашему бы брату филологу...

– Зато валюта, мин херц, шмотки навалом. Стоп, приехали!

Они прошли сквозь вертящиеся двери и поднялись в лифте на шестой этаж, в ресторан. Давно Глебу не приходилось бывать в таких местах. Зал был пуст: обеды кончились, а вечерняя публика еще не собралась. Стекланный купол пропускал многоцветные лучи закатного неба. Через полчаса здесь зажгутся все огни, и неба уже не будет видно.

– Слушай, Герка. Может быть, выпьем в подвальчике и погуляем? – сказал Глеб и сам удивился своему тоскливому тону.

Герка склонился к его уху.

– Глеб, если ты насчет тити-мити, то не волнуйся: у меня сейчас водится презренный металл.

Он похлопал себя по карману и победоносно огляделся. Подошел официант, зажег настольную лампу, расставил приборы. Герка, не глядя в карточку, назвал несколько блюд, заказал большое количество водки.

– Я все-таки не понимаю, парень, – обратился он затем к Глебу, – как ты оказался в этом общежитии?

– Это от горкомхоза, я там разнорабочим.

– О!

– Асфальтом улицы кроем, – уточнил Глеб.

– Твои старики отказались от блудного сына?

– Нет, я сам ушел из дому.

– Понимаю, поближе к жизни народа? Ведь ты писатель. Все еще гречишь, а?

Глеб с досадой поморщился. Почему-то ему не хотелось особенно откровенничать.

– Да нет, не совсем то... понимаешь... в общем, не совсем то, о чем ты думаешь.

Появился официант с каменным лицом жонглера, замелькал вокруг стола, крутя подносом, расставляя тарелки, наливая рюмки. Когда он исчез, Герка поднял рюмку, высокопарно произнес:

– За дружбу, за встречу на дорогах жизни, за нашу бурную молодость, которая еще не закончилась!

Они торопливо выпили три рюмки подряд. Оба чувствовали, что нужно сломать какой-то барьер, разделяющий их. По сути дела, и тому и другому казалось, что он сидит за столом с совершенно посторонним человеком, но они не хотели этому верить. После третьей рюмки Глеб тоже настроился патетически, разлил водку и провозгласил:

– Выпьем за счастье, Геракл! За большое счастье, которое нас ждет! Я верю!

Герка усмехнулся.

– Есть такие стихи, кажется, Киплинга:

Пусть за счастье пьют дураки,  
Мы выпьем за чудеса.  
За тех, у кого есть кулаки,  
Голова и паруса.

Вот что верно: удача, расчет, немного фантазии, в нужную минуту удар кулаком – и ты в дамках, – закончил свою мысль Герка.

– А труд?

– Труд! Смешно слушать! Люди трудятся, копят монету, мечтают о будущем, а я хочу иметь все сразу: дачу, машину, костюмы, девок. Вот счастье! И этого можно достигнуть, – он понизил голос, – даже в наших условиях.

– Велико твоё счастье! – насмешливо процедил Глеб. – И какими же средствами ты собираешься его достигнуть?

– Любыми!

Глеб резко отбросил спичечный коробок.

– Перестань! Ты остался таким же мальчишкой. Даже странно: прошло три года.

Пронзительный, замысловатый вопль трубы вдруг полетел с эстрады, загрохотал барабан, энергично вступили саксофоны – началась вечерняя программа.

– Чудак ты, – сказал Герка, но вдруг улыбнулся и помахал рукой. Ему вежливо кланялись издали трое молодых людей. Стиляги не стиляги, но, в общем, чертовски элегантные ребята. – Обрати внимание на этих людей. Вот тебе иллюстрация к моим словам: мальчишки сами строят

себе красивую жизнь. По мелочам, правда, работают, но хватка у них есть. Самые заядлые фарцовщики.

– То есть?

– Ты не знаешь? Как бы тебе объяснить... словом, культурные связи. Скупают у туристов, у моряков вещишки разные: часы, пластинки, рубахи эти нейлоновые – в общем, стильную всякую утварь. Ну, и реализуют. Хочешь, познакомлю? Мне они делают скидку.

– Уволь, с дерьмом таким не хочу якшаться.

Герка откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Глеба.

– Дерьмо-то дерьмо, но это они пользуются благами жизни, а не твои работяги-чистяги.

– Да ты блатным, что ли, стал? – изумился Глеб.

Герка опрокинул рюмку и сразу же налил себе другую. Он перегнулся через стол и зашептал. Круглая его физиономия плавала в табачном дыму перед лицом Глеба, сощуренные глаза светились злым огнем.

– Мой милый, хочешь, я открою тебе карты? Ты ведь думаешь, что я вместе с тобой в армию загремел. Трижды ха-ха! Меня тогда научил один тип, золотая башка, неделю перед комиссией готовился, табачный лист жевал и всякое другое. Пришел с отеками, сердце, как испорченный дизель, отпустили вчистую. Месяц в ус не дую, продолжаю светскую жизнь. Вдруг повестка: видно, усомнился кто-то. В один день собрался, поцеловал свою милашку Эллочку Коппе – помнишь такую? – и махнул в Иркутск, на стройку. Ну, папахен здесь замаял: мол, энтузиаст-романтик, с больным сердцем уехал по зову партии. Папенькина опека – это хорошо, но до определенного возраста. Теперь я сам тертый калач, хлебнул нашей прекрасной действительности, пообломала меня жизнь. Ну, вот устроился я там водителем в один трест, на первый класс сдал, между прочим. Сначала протачком был, не понимал, что к чему, потом добрые люди просветили. Подробностей тебе знать пока нечего, но только скажу, что бизнес я там сделал железный. В Питере труднее работать, но возможности и здесь есть. Нужно только быть настоящим мужчиной. Глебка, я тебя хорошо знаю, ты как раз такой малый, какой нам нужен. Не будь олухом, плюнь в эту асфальтовую кашу. Сколько ты имеешь? Ну, скажи: семь, восемь бумаг? Эти суммы вызывают у меня улыбку. Хочешь одеваться, как я, курить такие сигареты, в рестораны ходить? Мы уже не мальчики, надо самим думать о себе, сразу брать жизнь за холку. Рраз! – Он неожиданно выбросил руку вперед и будто схватил что-то в воздухе. Губы его растянулись, обнажив крупные, как клавиши, зубы. – Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача! Если тебе не по душе Киплинг, то вот, пожалуйста, вполне марксистская формулировочка.

Он сунул в рот сигарету, чиркнул зажигалкой, жадно, глубоко затянулся. Только сейчас Глеб заметил у него на правой руке массивное граненое кольцо. При случае им можно выбить зуб или глаз. Глеб опустил голову, смял в руках салфетку. Это кольцо, окруженное розовыми валиками жира, прыгающее в такт джазовой мелодии, вызвало у него противное ощущение. Он не мог его видеть, но еще больше он боялся взглянуть в Теркину рожу. Все же Глеб поднял голову и уперся взглядом в его глаза.

– Ну, собака, – медленно заговорил он, – теперь я тебя узнал! Ты сам разделся передо мной, я не толкал тебя на это. Сволочь! Парни там работали, строили ГЭС, а ты «левака» давал, бизнес делал. Болтаешь о мужестве. Мичурина цитируешь! Ты дезертир и проходимец!

– Опомнись, друг, – сказал Герка.

– Молчи! И меня хочешь затащить в свое болото? Нет, сэр, не выйдет. Я скорее... Неужели ты не понимаешь, что это я хозяин жизни, я, а не ты? Ты только уж – ползешь, прячешься, куснешь, а толку мало. А я иду прямо!

Герка не изменился в лице, только глаза его били в Глеба ненавистью.

– Здорово же тебя оболванили там, – проговорил он. – Лопух! Ты мне стелешь гладкую дорожку, а я по ней буду развивать скорость на своем голубом авто. Понятно? Посмотрим, кто дальше уедет!

– Далеко уедешь, факт. Куда Макар...

– Может, донести хочешь? А доказательства есть? Ты... – Он грязно выругался.

Теперь они сидели со сжатыми мускулами, вцепившись глазами друг в друга, готовые к бою. Герка сорвался, челюсть и щеки его задрожали, руки непроизвольно задвигались. Собрав все силы, он закрыл глаза, тряхнул головой и откинулся в кресло.

– Ну, ладно, – сказал он, – хватит. Поговорим о более приятных материях. О девочках. О Тане.

Он знал, куда нанести удар. Это был запрещенный прием, удар ниже пояса, грязная провокация, и Глеб задохнулся от злобы, от омерзения и от желания узнать, узнать любой ценой, что Таня.

– Что Таня? – хрипло спросил он. – Где она?

– Здесь.

– Конечно... она замужем?

Герка ликовал, он наслаждался повергнутым Глебом и хотел закрепить победу.

– Была замужем, благодаря чему обладает сейчас изолированной жил площадкой. Ведет рассеянный образ жизни и твоего покорного слугу тоже не обделяет своей благосклонностью.

Он улыбнулся и в тот же миг полетел на пол. К их столу сразу сбежались люди.

– Нокаут! – сказал какой-то моряк. – Я давно понял, что эти мальчики кончат свой вечер хорошим боксом.

Глеб бросил на стол деньги, растолкал толпу и быстрыми шагами пошел к выходу.

– Милиция! – кричали сзади. – Бегите же! Звоните!

.....

Он несся в густой толпе и бессознательно читал рекламы. Неоновые буквы разрозненно летели из сумрака, не складываясь в слова, троллейбусы и автобусы неотвратимо надвигались светящимися угрожающими громадами, во встречном потоке мелькали шляпы, глаза, рты... На Невском царил хаос, как и в его потрясенном мозгу. Что, собственно, произошло? Киплинг. Сигареты. Таня. Голубое авто. Иркутск. Кольцо, которым можно выбить глаз. Благосклонность. Да, благосклонна... К Герке! Старомодное слово «благосклонность», так, верно, говорили лейб-уланы. Нокаут! А! «Я ударил его крюком под подбородок – и сразу нокаут. Удивительно!»

Глеб перебежал улицу и бросился на скамью в сквере у Казанского собора. Отыскал в кармане пачку «Авроры».

Надо разобраться. Итак, он нанес удар своему старому другу, когда тот рассказал о Тане. Но он ведь и сам подсознательно предполагал что-нибудь подобное. Конечно, Таня была только толчком, упоминание о ней помогло ему собраться с духом. До того момента его не покидало ощущение незащитности перед лицом этой мощной скользкой гадины, навалившейся на край стола и гипнотизирующей его своими бешеными глазами. Теперь можно уже признаться в этом. Таня, Таня, связанная с Геркой, стала как бы искрой, воспламенившей запас ненависти. Он бил не соперника, а врага. Ничего себе, хорошее решение спора – удар кулаком! Какой там спор! Если бы Герка остался позером, каким был три года назад, можно было бы спорить. Нет, это уже вполне сформировавшаяся личность. Враг! И не только его: враг Сергея, Нины, Юрки, всего общежития, всего рабочего класса. Как же это произошло, черт побери? Ведь вместе сидели за партой, занимались спортом, вместе их принимали в комсомол. И потом эти первые студенческие годы – полное единомыслие, точнее, полное отсутствие мысли. Правда, и тогда что-то стояло между ними, но казалось, что это Таня. И вот через три года встретились двое взрослых мужчин и коротко выяснили отношения. Значит, он стелет ему гладкую дорожку,

а все блага жизни достаются фарцовщикам, Герке? Ложь и идиотизм! Поклеп на жизнь. Спекулянты, ворюги, дезертиры – соль земли? Ха-ха! Они только хорохорятся, а сами дрожат от страха.

Глеб, иди своей дорогой, но помни, что в складках пересеченной местности таятся настоящие враги и тебе придется держать настоящий, а не тренировочный бой.

.....

Глеб выпрямился, отер с лица пот, расслабил руки. За эти два летних месяца они, дорожные рабочие, загорели до неузнаваемости. Он посмотрел на свою черную кожу, по которой текли ручейки пота, и подумал: жаль, после душа становишься значительно светлее. Снял с головы майку, обернулся. Результаты рабочего дня! Жирно блестящая асфальтовая лента тянулась через пустырь от квартала новых домов к началу Приморского шоссе. Подошел Сергей, их бригада работала в этот раз по соседству.

Они пошли рядом по обочине новой дороги, перекинув через плечо куртки.

– Когда экзамены, Глеб?

– Через неделю.

– Волнуешься?

– Конечно. То есть я думаю, что пройду: есть ведь льгота для демобилизованных, но все-таки, знаешь, сосет вот здесь. – Он хлопнул себя по животу.

– Ну, черт, пройдешь – такой сабантуй устроим! Всем общежитием, точно?

– Ясное дело.

– У тебя курить есть? Нет? Тогда я забегу в палатку, заодно шамовки какой-нибудь куплю. Ты иди, я догоню.

В задумчивости Глеб уже почти дошел до киоска «Пиво-воды», когда раздался сигнал автомашины, адресованный как будто прямо ему. Он поднял голову – на него катила сверкающая двухцветная «Волга». За ветровым стеклом отчетливо был виден развалившийся, улыбающийся ему Герка. Он остановил машину в двух шагах от Глеба и вылез. В снежно-белой рубашке с короткими рукавами, в новеньких брюках, цветущий, мордастый, он встал рядом с ним.

– Не просохла еще? – спросил он и мотнул головой на новую дорогу.

Глеб не успел еще осмыслить его появления, как вдруг заметил, что у него округлились глаза и взгляд с ужасом устремился куда-то в сторону. Глеб невольно обернулся и увидел несущегося к ним громадными прыжками Сергея.

– Держи! – завопил Сергей.

Герка уже сидел в машине и бешено крутил руль.

Сергей поравнялся с Глебом и рывкнул:

– Что стоишь, держи его!

Глеб, не раздумывая, бросился к машине. «Волга» описала полукруг и быстро стала уходить. Они бежали и кричали еще долго после того, как была потеряна всякая надежда.

И только когда машина, несущая на спине солнечную лужу, скрылась далеко за углом, они остановились.

– Ушел, – шептал, задыхаясь, Сергей. – Опять смотался.

– Ты что, встречался с ним раньше? – спросил Глеб.

– Приходилось, и при любопытных обстоятельствах.

Они сели прямо на обочине тротуара.

– Понимаешь, когда я был в Иркутске, – заговорил Сергей, – мне пришлось поработать в бригад-миле, в порядке комсомольского поручения. Шпану держали в страхе божьем. Как-то лейтенант дал нам особое задание. Дело в том, что в поселке одном таежном ограбили магазинчик, унесли самый дефицитный для тех мест товар – партию кожаных перчаток на меху, всего, кажется, тысячу пар. Органы правильно рассудили, что сбывать будут в Иркутске. Город боль-

шой, можно незаметно реализовать. И действительно, стали появляться на людях эти перчатки. Кто где покупал: на улице, в подворотне, на барахолке. По сто пятьдесят целковых драли, сволочи. Представляешь, каков бизнес! Ну вот, ходим мы по барахолке, пурга метет, а народу все равно до черта. Вдруг смотрю, парень стоит, такой громоздкий, в кожане и ушанке, и из-за пазухи тетке какой-то перчатки эти показывает. Я его за рукав. «Пройдемте», – говорю, а он меня сразу прямым в зубы – и бежать. Вот видишь? – Сергей приподнял губу, показал зуб из нержавеющей стали.

– Кольцом, наверное, – заметил Глеб.

– Да, что-то твердое было. Ну, бросились мы в толпу, я, еще двое наших и опер, а толпа бурлит как кипяток: видно, кореша его свару затеяли. Наконец выбрались, смотрим: он бежит к грузовику. Опер на мотоцикл, туда-сюда, мотор не заводится, а бандюга вскочил в грузовик и газа дал. Потом кое-кого взяли из этой компании, но Пана – они его «Паном» звали – след простыл. И вот теперь, – Сергей скрипнул зубами, – в «Волге» ездит, пакость, такую технику поганит. Идиот я, номера не посмотрел. Слушай, Глеб, а ты не заметил?

– А что мне замечать, – медленно проговорил Глеб, – я его прекрасно знаю. Да нет, знаю этого... Пана. Он мой «старый друг». И адрес знаю, и телефон, и номер ботинок, и мыслишки. Хочешь, в гости пойдём?

– А что толку, – проронил Сергей, – он теперь уже нырнул, ясно. Ушел, змеюка.

– Далеко не уйдет: земля горит под ногами. Не ездить ему по нашим дорогам.

– Это верно, но я сам его хотел, своими руками доставить. Ладно, пошли.

Они встали.

– Пива-то выпьем?

– Конечно.

И перекинув куртки через плечо, Сергей и Глеб пошли выпить по кружке холодного пива, настоящего вкуса которого вы не узнаете, не поработав как следует часиков шесть под июльским солнцем.

1959

## Самсон и Самсониха

Марк вышел на крыльцо, посмотрел на реку и закурил. Сидевшие на нижней ступеньке больные обернулись. Степанов (обострение хронического полиартрита), как всегда, ехидно сощурил свои медвежьи глазки.

– Что же это вы, доктор, лекции читаете о вреде никотина, а сами...

– Да-да, – сказал Марк и спустился с крыльца. Надо проверить, действительно ли Степанов пьет салицилку. Хитрющая личность.

– Домой, Марк Николаевич? – участливо спросил Петя Марютин (болезнь Боткина под вопросом).

– Да-да, – сказал Марк, – вот, как видите.

– Ну, счастливо.

– До свидания, товарищи. Соблюдайте режим. Больные приподняли соломенные шляпы, а Марк лениво поплелся по дощатым мосткам к берегу.

«Ну вот, – думал он, – прошел еще один день. Раньше в Ленинграде с окончанием работы день только начинался. Нужно было все время смотреть на часы и куда-то спешить. Придумывал себе массу дел, а оказалось, что все это ерунда. Можно вполне обойтись работой, чтением и сном. И это не так уж нестерпимо. Человек ко всему привыкает».

Солнце жгло плечи. Впереди на мостках лежали две заскорузлые овечки. Бока их тяжело вздымались.

«Дорогу человеку!» – мысленно воскликнул Марк и с облегчением расхохотался. К счастью, он часто представлялся себе в комическом свете.

«Куда же бросить свои кости? Куда же бросить свои... Поеду на ту сторону. Говорят, там красиво. Что ж, завалюсь где-нибудь на лугу и буду читать Багрицкого».

На пароме скрипела гармошка. Коренастый морячок фотографировал девчат.

– Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! – кричал он.

Девчата хохотали. Увидев Марка, они перешли на тихое хихиканье и перешептывание.

«Как всегда, обсуждаются мои брюки», – решил Марк и подошел к знакомому шоферу Игнатию Ильичеву (хронический гастрит). Потолковали о желудке, о событиях в Ливане. Паром тихо покачивался. Наплывал висящий в стеклянном мареве «тот берег». Он был высок и лесист и скалист у подножия.

– ...А вымя у нее, матушки моей, затвердело, как доска, – жалобно повествовала незнакомая тетушка, – видать, гад клюнул.

– Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! – орал морячок.

Пыльная дорога круто шла вверх. По сторонам ее тянулись изгороди. Они кончались там, где начинался лес. Там гулял ветерок. Пятна света и тень на траве были в движении. Марк свернул с дороги и пошел тропинкой по лесистому склону. Теперь его окружала сплошная замшевая хвоя, лишь кое-где прорезанная стремительными стволами сосен. Тропинка вдруг взяла куда-то вверх, запетляла и неожиданно вывела к краю провала, на дне которого стояла черная вода болотца. Над провалом висела выступающая из горы глыба гранита, как бы срезанная по вертикали взмахом гигантской лопаты. А на краю глыбы сидела, свесив вниз босые ноги, девушка. Она была выхвачена из лесного сумрака широким, будто специально направленным лучом. Лицо ее было запрокинуто, глаза закрыты, губы застыли в улыбке.

«Кто это?» – поразился Марк и крадучись полез по краю провала. Когда он откинул ветку и ступил на гранит, девушка вскрикнула и вскочила. Тонкая фигурка в коротком цветастом платье казалась брошенной на темный фон хвои несколькими мазками размашистого живописца.

– Здравствуйте, – сказал осторожно Марк. Теперь он узнал ее – это была учительница географии из семилетки. Как же ее зовут? Ах да – Клавдия Петровна. Как-то она приводила своих ребят на рентген. Кажется, она приехала сюда на работу одновременно с ним. Но почему он раньше не замечал, что она... ну конечно, она красива. Волосы распущены, падают на грудь, глаза – ого!

– Идеальная танцплощадка, правда? – Он обвел руками гладкую поверхность. – И даже со световыми эффектами.

Она молчала, искоса глядя на него.

– Я вас испугал? Простите. Можно мне тут побыть?

Они сели на край глыбы. Марк медленно полез в карман за сигаретами. У него было такое чувство, что одно неосторожное движение вспугнет девушку, и она улетит, как лесная птица.

Учительница судорожными движениями увязывала волосы в пучок, шпильки, зажатые в губах, дрожали.

«Это жестоко», – думал Марк, украдкой глядя, как умирят золотистый водопад.

– Какая замечательная погода. Большая редкость для этих мест.

– Сегодня Самсон, – сказала девушка.

– То есть?

– Сегодня Самсон, а завтра Самсониха. В народе по этим дням предполагают лето.

– Значит, если эти два дня будут безоблачными, то и все лето будет таким же?

– Да. Это очень точно.

– Конечно. Я в это верю. Мудрость, собранная по каплям за века.

– Мудрость и поэтическое чувство.

– Да? Поэтическое?

– Да-да, смотрите – народ добавил к каждому имени в святцах яркие словечки: Василий-капельник, Авдотья-плющица, Федосья-колосница, Акулина-бузондунья...

– А это еще что такое?

– День появления оводов. Овод летит – б-з-з-д-д-н-н.

– Великолепно! Но Самсон с Самсонихой? Тут уж, по-моему, голый расчет. Отдаленный прогноз для покоса, молотбы.

– Не совсем. Считается, что кому в эти дни улыбнется счастье...

– Тот будет счастлив всегда! – воскликнул Марк с радостным чувством. Девушка улыбнулась.

– Во всяком случае, до следующего Самсона.

Марк смотрел на загорелое чуть скуластое лицо и едва сдерживал желание положить ей руку на затылок, под тугой пушистый пучок, и глубоко заглянуть в глаза.

– Вы, значит, местная? – спросил он.

– Да, и родилась и жила здесь всегда. Только вот техникум кончала в Ленинграде. А вам, Марк Николаевич, нравится наш край?

Ему стало немного досадно оттого, что она назвала его по отчеству.

– Да я и не видел его, – ответил он. – За год первый раз из поселка выбрался. Работа.

Она вдруг схватила его за руку.

– Хотите, я вам покажу?

– Что?

– Все, нужно только подняться вверх.

Она вскочила, сунула ноги в босоножки, схватила кофточку и книгу.

– Бежим?

Они побежали по извилистой крутой тропинке. Девушка стремительно неслась впереди, изредка оборачивая к нему разгоряченное лицо. Марк спортивно работал локтями. Чем выше, тем прозрачнее становился лес, и наконец они выскочили на круглую, как набалдашник, вер-

шину. Здесь росла только высокая трава и раскачивались на тонких ножках веселые пузатенькие желтые цветы.

– Это балаболки. – Она протянула ему несколько сорванных на бегу цветов. – Ну, смотрите!

С вершины открывался вид на громадное пространство. Оказалось, что поселок почти со всех сторон окружен водой. Девушка засемафорила руками.

– Это наша река. Это канал. Старинный. Еще Петр Первый путь на Волгу копал.

– Ну, это я знаю.

– А это наше море. Что? Чем не море? И берегов не видно, и штормы бывают страшные.

Марк знал это громадное озеро только по карте, на которой оно представлялось ему сравнительно большим, но все-таки только пятнышком голубой краски. Сейчас он был удивлен – действительно море. И лихтеры вон стоят такие же, как на Балтике.

– А вон видите, Марк Николаевич, на берегу круглую горушку? Она ведь пустотелая. Правда-правда. Это финны себе сделали в ней крепость во время оккупации. Мы там после войны жили – поселок-то весь сторел. А там, – она махнула рукой на северо-запад, – в тайге множество мелких озер и рек. Отсюда видны только Гим-река и Шум-озеро.

– Почему Шум? Шумит?

– Да, все время стоит странный какой-то шум. Необычайная роза ветров – дует со всех сторон. Вечная зыбь. Березки трепещут. Сосны гудят.

Марк больше не слушал объяснений. Он только смотрел на ее лицо, на глаза, на фигуру, залитую розоватым светом опускающегося за лес солнца. Она поймала его взгляд, смутилась и села в траву.

– Что вы читаете? – спросил он и потянулся за книгой.

– Ничего. Просто так, ерунда, – быстро сказала она и вырвала книжку.

– Вы открыли мне ваш внешний мир и не пускаете во внутренний. – Он усмехнулся своей тяжеловатой шутке. Девушка бросила искоса испуганный взгляд и стала торопливо надевать кофточку.

– Надо возвращаться, – сказала она, вставая. Она вдруг стала чопорной и скучной особой в шерстяной чехословацкой кофточке. Что случилось? Чем он ее спугнул?

В лесу было совсем темно. Марк пытался шутить, но она едва отвечала. Когда они вышли на дорогу, он взял ее под руку. Она мягко, но решительно освободилась. Он примерялся и так и сяк – ничто не помогало. В досаде он отстал на несколько шагов, закурил и посмотрел ей вслед. Сухонькая и прямая, она методично вышагивала по дороге. Трудно было поверить, что эта явная ханжа полчаса назад была гибкой, как ивовый прут, девушкой с горящими лукавыми глазами, что еще раньше она сидела в луче солнца с распущенными волосами и какая-то мечта бродила по ее лицу. И тут Марк догадался, почему он не замечал ее раньше, не выделил из всех. Вот именно это общее, «местное» выражение. При встрече любая девушка в поселке подожмет губы и посмотрит мимо тебя нарочито безразличным взором, всем своим видом говоря: «Не воображайте, я не из таких». Ну нет, ты-то не возьмешь меня на эту пушку. Теперь я знаю, какая ты...

К счастью, на пароме никого не было. Стояли только два грузовика, шоферы спали в кабинах. Девушка подошла к перилам и безучастно отвернулась от Марка.

– Да перестаньте же! – почти заорал он. – Прошу вас. Что такое? Клавдия Петровна, ведь сегодня такой день... Самсон. Вы это учитываете? Скажите, почему вы так переменялись?

Она повернула к нему лицо. Оно вдруг оказалось смущенным и совсем детским.

– Я боялась, что вы начнете обниматься. В Ленинграде все молодые люди...

Боги! Марк, обессиленный, присел на палубу, затрясся в немом старческом смехе. Девушка тоже смеялась вместе с ним, но только громче, на всю реку.

– Я дура, да? Да? – спрашивала она.

– Вы прелесть, – проговорил Марк, задыхаясь.

Через минуту они стояли рядом, облокотившись на перила, смотрели на закат. Марк, рассекая воздух ладонью, читал Багрицкого.

Через десять минут они спрыгнули на берег и пошли по улице, взявшись за руки. За их спинами из-за заборов выскакивали любопытные головы. Марк, рассекая воздух ладонью, продолжал читать Багрицкого.

– Вот мой дом, – сказала она. – Посидим?

Они уселись на лавочке, не разнимая своих рук. Марк махал рукой так, что ему стало трудно дышать. Через два часа, когда кончился медленный северный закат и началась белая ночь, Марк сказал:

– Какие виды на Самсонику?

– Судя по закату, она будет чудесной, – ответила она.

– Значит, после работы там же или на самом верху?

– Наверху.

– Ну и так как... в Ленинграде все молодые люди...

– Нет, – прошептала она, вырвала руку и убежала.

Наутро по поселку полетели слухи. Беспроволочный телеграф работал с полной нагрузкой.

– Клавка-то Гурьянова – слышали? – с длинным доктором гуляет.

Длинный доктор тревожно поглядывал на небо. Нет, все в порядке – ни одного облачка. То же дрожащее марево. Березы дремлют. Скот неподвижно лежит в траве.

Марк быстро промчался по палатам, сделал перевязку послеоперационному больному, две намеченных на сегодня новокаиновых блокады. После этого он прошел в кабинет и стал торопливо записывать дневники. Может быть, удастся освободиться сегодня пораньше. С самого утра перед ним мелькали сцены вчерашнего дня. Он переворачивал страницу истории болезни и видел прыгающее по камням цветастое платье. Он закуривал, и в дыму сигареты на него надвигались смеющиеся и какие-то беззащитные глаза Клавы.

Освободиться пораньше не удалось. К концу рабочего дня из леспромхоза привезли женщину, нужна была срочная операция.

К хирургии Марк относился со священным трепетом. Во время работы в операционной он забывал обо всем, что с ним было раньше, и не думал о будущем. Сейчас, ожидая Кулагина и прислушиваясь к глухому рычанию засыпающей под наркозом женщины, он смотрел в окно. Занавески еще не были задернуты, и было видно, как две тонконогие девчонки бежали по мосткам, распугивая кур.

«Это, наверно, Клавины ученицы, – думал Марк. – А через несколько лет они будут такими, как она. Будут мечтать и поджимать губы».

В операционную с поднятыми руками вошел Кулагин, торжественный и суровый, как магистр тайного ордена. Первый раз, когда Марк увидел его таким, он чуть не засмеялся. Но потом привык. В операционной Лука Васильевич всегда преображался. Здесь он ничем не напоминал тощего сорокалетнего бобыля, над чудачествами которого потешался весь поселок.

Операция кончилась через два часа. Обычно после таких сложных операций оба хирурга долго еще разговаривали в ординаторской, а потом шли вместе в кино или в чайную и почему-то не расставались друг с другом до позднего времени. Но сейчас Марк как угорелый вылетел из операционной.

Бросив халат на руки санитарки, он выбежал из больницы и устремился к берегу. До парома вдоль берега бежать минут двадцать, и когда он еще пойдет – черт знает. Марк спихнул в воду чью-то тяжелую лодку, сунул весла в уключины и рывками погнал ее к высокому берегу. Придется пробираться через лес, напрямик.

Полчаса спустя, взмыленный, он выскочил из леса. На вершине медленно шли тихие волны, будто кто-то проводил гребнем по траве. Клавы не было. Он взлетел на самый верх и увидел ее. Она лежала в траве шагах в десяти. Ее тело, обтянутое пестрым платицем, брошенные за голову голые руки, застывшая улыбка выражали полную безмятежность.

– Клава! – позвал он.

Она мгновенно вскочила на ноги – будто автоматически сработала внутри какая-то пружина, – увидела его и помахала рукой, шурясь от солнца:

– Привет, Марк!

Он медленно пошел на нее, замечая, как сгибаются под сандалетами балаболки. Клава смотрела исподлобья и с каждым его шагом все ниже наклоняла голову...

Тонкие бледно-зеленые побеги уходили в синеву, как невиданный нежный лес. Оказалось, что у подножия этого травяного леса кипит жизнь. Какие-то жучки, букашки, вспугнутые ими, теперь возвращались и носились по краю разоренного пространства. Марк перевернулся на спину, и Клава положила голову ему на плечо. Ее спутанные волосы пахли травой сильнее, чем трава.

Он вытащил из кармана сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. И тут же ткнул сигарету в землю – струя дыма, пущенная им в поднебесье, напомнила что-то из прошлого. Он всегда курил после этого так, как курят разные замечательные парни в кино. Нет, сейчас это ничем не должно быть похоже на то, что было раньше, с другими.

Нужно переждать. Еще несколько ударов сердца, несколько вздохов...

– Клава, – сказал он, – милая птица...

Она вздрогнула, подняла голову, и вся осторожность мигом слетела с него. У нее были смеющиеся, лукавые глаза.

– Марк, ты веришь в приметы? Ты... – она погладила его лицо, – ты красивый.

– Ну да? Я красивый? Вот новость!

– Правда-правда! У нас многие девчонки по тебе вздыхали. Но ты же гордый – никуда не ходишь. Вот и не знал.

– То есть как это никуда не хожу?

– Ну, в клуб.

– А ты ходила в клуб?

– Редко.

– Почему?

– Потому... потому что ты туда не ходил.

Он приподнялся на локте.

Клава смотрела на него храбро-храбро.

– Тебе бы знаешь, – проговорил Марк, – тебе бы шест в руки, и чтобы ты с шестом стояла в лодке.

Она засмеялась.

– А я хочу на байдарке. У меня второй разряд по байдарке.

– Нет, не на байдарке. На какой-нибудь старой лодке, на челне...

Солнце закатилось за лес. Темный бор вытянулся неровной волной, как вырезанный из жести. Темный бор, русский, древний, напоминающий сказку о Коньке-Горбунке. Над ним снова горел закат.

– Как будто разлили банку марганцовки, – сказал Марк.

– Посмотри, – протянула руку Клава, – это длинное облачко похоже на республику Чили.

Марк взглянул на фиолетовое облачко.

– Правильно. А в середине, где сияние, столица – Монтевидео.

– Не Монтевидео, а Сантьяго. Не знаешь географии.

Они повернулись спиной к закату и стали спускаться с холма. На востоке белая ночь уже опустила свои прозрачные шторы. В сумраке по каналу шел тральщик, сигналил ратьером.

– Ты хотела бы жить в Чили?

– Нет. Побывать хотела бы, а жить нет.

– Ну, а в Москве, в Ленинграде, в Одессе?

– Ах, мне очень хочется поездить и посмотреть весь белый свет. Ведь я же географ.

– Нет, а жить, жить в громадном городе? Смотреть по вечерам сверху на огни, блуждать по улицам, заходить в рестораны? Театры, выставки, матчи! Неужели не хотела бы жить там со мной?

– Марк, разве ты уедешь? – спросила она с неожиданной тоской.

Он опустил голову:

– Не знаю. Теперь, когда ты, для меня все прекрасно – и эти домишки, и овцы, путающиеся под ногами. Но еще вчера я был на пределе. Не мог. Не привык я к этому. Застойная тихая жизнь. Сколько у нас тут жителей? Тысяч пять, шесть? Всех уже знаю в лицо и половину по имени. Тридцать процентов женщин прошло передо мной, понимаешь, неглиже. А со временем будет и все сто – профилактические осмотры. Невозможно жить в таком маленьком поселке и знать все его болячки. Ведь я не только доктор...

– Ну, а если ты полюбишь... не только меня, но и всё? Наши реки, озера, поселок, людей. Понимаешь? Ведь можешь же ты полюбить все это.

– Я уже люблю, потому что это ты.

Река, горящая зеленым огнем, и темная куча поселка были у них под ногами. Клава задумчиво шла вниз, резкими машинальными движениями ломая прутик.

– «Застой», – сказала она. – Посмотрел бы ты в сорок пятом. Одни трубы торчали. А сейчас вот все отстроились, школа есть, больница. На пристани порталные краны стоят. Клуб у нас паршивый, правда, но сейчас решили новый строить, большой, со спортзалом. В будущем году подстанцию пустят – ток пойдет от магистрали высокого напряжения. Тогда и телевизоры можно будет покупать.

– Я переменял много мест, – проговорил Марк. – Города мелькали перед глазами. Сначала война. Эвакуировались из Киева. Попали на Дальний Восток. Потом Фрунзе, Свердловск. Николаев, Ленинград... Отец был армейским врачом. Вот только Ленинград крепко зацепил меня за сердце. Или это годы были такие, студенческие.

Клава остановилась и прижалась к нему.

– Ничего, милый. Ты полюбишь и наш край. – Она засмеялась. – Будешь старожилом. Мужики тебе будут говорить: «Здоров, Николаич! Как твоя старуха?» Правда?

– Да-да, – грустно сказал Марк. – Вероятно.

Почему-то он представил себе эту Клавину сценку зимой. Все в шубах и валенках, а он в фетрах. И Клава идет из школы, закутанная и совсем не такая, как сейчас. Ему не хотелось зимы.

Они выбрались на берег, нашли похищенную лодку и столкнули ее в воду.

– Выкупаемся? – спросила Клава.

– Что ты! Вода еще очень холодная.

– Вот и хорошо – мне нужно охладиться, а то я в тебя уж очень влюбилась. Отвернись!

Она бросила платье на камень и смело, одним махом, вбежала в воду. Марк взял платье, маленький теплый комочек, понюхал его, и в голове помутилось от нежности. Буду старожилом! Буду хоть пещерным человеком. Здоров, Николаич! Как твоя старуха?

Прощались они на этот раз недолго.

– Не провожай меня, – сказала Клава, – завтра встретимся там же.

В последний раз поцеловав ее, он бодро пошел домой. Он стучал каблуками по доскам и насвистывал негритянскую песенку.

Он снимал комнату в диковинном домике на берегу. Давно уже председатель пристанского месткома приставал к нему с предложениями занять двухкомнатную квартиру в новом, единственном в поселке трехэтажном доме. Марк медлил, посмеивался, благодарил. И он сам, и хитрый предместкома прекрасно понимали, что такая квартира к чему-то обязывает. А Марку хотелось сохранить ощущение временности своего пребывания здесь, поэтому он и возился как слон в шестиметровой комнатенке, хранил книги, белье и даже продукты в чемоданах.

Подойдя к калитке, Марк пошарил рукой сбоку на заборе – щеколда была с секретом – и проник во двор. Хозяева – дисциплинированное семейство старого речника – пили чай на веранде.

– Добрый вечер, – сказал Марк приветливо. Ему хотелось поговорить сегодня с этими славными людьми, которые превратили свой дом в смешной и загадочный ящик, хотелось, чтобы они пригласили его к столу.

– Марк Николаевич, вам почта.

– Да? Интересно.

Он вошел в дом и боком мимо печки пробрался в свою комнату. Конечно, опять зацепился плечом за гвоздь. Надо будет завтра пойти посмотреть эту квартиру в новом доме. Обязательно. Интересно, от кого письмо? Где же лампа, черт побери? Фу ты, где же она?

Так и не найдя лампу, он достал карманный фонарик и направил луч света на стол. В мутном желтом кругу он увидел большой конверт со штампом наверху – «Ленинградский научно-исследовательский институт...». Он усмехнулся и полез в чемодан за новой пачкой сигарет. Он знал, что там, в этом конверте, – замаскированное округлыми словами «иди ты к черту». Месяц назад по объявлению в «Медработнике» он послал документы на конкурс в этот институт, описал свои работы в студенческом научном обществе. От этой жизни и не то взбредет в голову. Почему это именно он, Марк, деревенский лекарь, пройдет в этот всемирно известный институт? Мало ли в Ленинграде талантливых и преуспевающих парней? Детские мечты.

Он затянулся пару раз, сунул сигарету в рот и рванул конверт: «...сообщаем Вам, что дирекция и Ученый совет института одобрили Вашу кандидатуру на должность младшего научного сотрудника отделения экспериментальной патологии».

Вот это да! Померещилось, что ли? Нет, все верно – «...одобрили... на должность...». Боже мой! Целый шквал счастья! И неожиданно, как всегда. Ну и день!

Он снова схватил письмо и впился глазами в текст. Внизу, ниже подписи, была приписка: «Рекомендуем прибыть для оформления в самый кратчайший срок».

Марк быстро вышел на веранду и обратился к хозяину:

– Борис Егорович, когда ближайший пароход на Ленинград?

Все изумленно уставились на него.

– «Шексна» сейчас стоит на пристани, – хозяин вынул часы, – через пятьдесят минут отвалит.

– Ах черт! А следующий?

– Следующий только через два дня будет.

Два дня и двадцать часов хода до Ленинграда. А за это время какой-нибудь прохиндей завернет в институт и... Знаем, как это делается. Недаром же они пишут «рекомендуем». Еще могут пересмотреть. Иначе писали бы «просим». На «Шексне» завтра к вечеру можно быть в Ленинграде. Взять такси. Успею до закрытия!

Марк круто повернулся, вбежал в свою комнату, вытащил чемодан, свалил туда какие-то вещи, быстро пересчитал деньги, надел пиджак. Не отвечая на вопросы хозяев, он пробежал через сад и устремился к больнице.

Кулагин жил во дворе больницы во флигеле. Марк ворвался к нему в тот момент, когда он, окончательно ожесточась в холостяцкой мерзости своей комнаты, привычным движением сдирал сургуч с поллитровки.

– Лука! – крикнул Марк с порога и бросил на стол письмо. – Смотри!

Кулагин взял бумагу, прочел и печально взглянул на Марка.

– Ты уже с чемоданом?

– Да, бегу на пристань. «Шексна» стоит. Расчет по почте. Что головой качаешь? Прошедших по конкурсу удерживать не имеют права. Я законы знаю.

Кулагин встал, быстро хлебнул из горлышка и подошел вплотную к Марку:

– Хочешь водки?

– Только скорей.

Марк выпил полстакана, вытер губы рукавом и торопливо сказал:

– Ты понимаешь, там большие дела делаются. Наука... Я тебе напишу. Прощай!

Они обнялись. Марк бросился к двери, распахнул ее и, задержавшись на мгновение, сказал:

– А здорово мы с тобой здесь оперировали. Просто здорово, Лука.

В окно Кулагин видел, как Марк пробежал к квартире шофера. Пять минут спустя «санитарка» выехала из ворот больницы.

«Через год он забудет мое имя», – подумал Кулагин и резко, как бы набравшись мужества, повернулся лицом к своей комнате.

«Шексна» – трехэтажная плавучая вилла – сияла широкими стеклами и белизной окраски. Это был экскурсионный теплоход, но иногда его пускали и по пассажирским линиям Северного пароходства.

Марк поднялся на самый верх – свободные места были только в первом классе. Отражаясь сразу в нескольких зеркалах, он прошел по коридору, нашел свою каюту, бросил туда чемодан и вышел на палубу. Все. Завтра он будет в институте. На пристани возьмет такси и... Проспект Обуховской Обороны, потом выезжаем на Старо-Невский... Площадь Восстания. Дальше или по Невскому – боже мой, Невский! – или можно через Литейный мост, Гренадерский... Какое там оборудование, в этом институте! Он видел раз в киножурнале. Электронная техника, изотопы... Кажется, там кто-то работает из их выпуска. Снова настоящая жизнь, настоящий ритм. Люди, люди, множество лиц, множество оригинальных идей, острых слов. Надо будет сшить новый костюм. Самый модный. Мравинский взмахивает палочкой, мощные волны Пятой симфонии идут по залу. А он, Марк, как в студенческие годы, на галерке. Нет, теперь уже внизу, в партере. Как-никак научный сотрудник. Младший. Ха-ха, сегодня младший, а завтра... А в общем, это ерунда – новый костюм. Нужно будет много работать, варить котелком. Конечно, трудно придется сначала. Пока овладеешь методикой, наладишь контакт с людьми, то да се... С пропиской, наверное, не будет трудностей. Надо будет снять комнату где-нибудь на Петроградской, на проспекте Щорса или на Карповке. Эстрадные концерты в «Промке»... Раз в неделю, нет – раз в месяц...

Он пошел на корму и заглянул в окно ресторана. Там было пусто, только у буфета что-то подсчитывала молоденькая крашенная официантка. Он вошел в ресторан и обратился к ней:

– Можно у вас водки выпить?

Она удивленно и заинтересованно посмотрела на него.

– Вообще-то можно.

– А в частности?

– А в частности мы уже закрылись.

Марк легко улыбнулся. Ему было приятно смотреть на официантку, на ее прическу и фасон платья.

– Вы сами из Ленинграда? – спросил он.

Официантка кивнула, но тут же заметила:

– Буфет уже закрыт, ничего не отпускают.

– Я тоже ленинградец, – снова улыбнувшись, сказал Марк.

Официантка ответила ему довольно откровенной улыбкой.

Внизу загудели турбины, судно качнулось. Марк вышел на палубу. Теплоход быстро удалялся от причала, на котором стояли безучастные и громоздкие грузчики. Теплоход сделал поворот, и пристань осталась за кормой. Открылась светящаяся в прозрачной северной ночи водная дорога. На горизонте в густой синеве краснел глазок бакена.

«Черт, в этой спешке не успел сообщить Клавье», – подумал Марк.

Эта мысль пронзила его как ток, но он постарался перевести ее в бытовую интонацию. Не беда, он сообщит ей завтра. Прямо с ленинградской пристани даст телеграмму. Да она и сама узнает. Завтра весь поселок будет знать. Но он все равно даст телеграмму и в тот же день напишет письмо. И будет писать ей каждый день, каждую неделю. Она не обидится, она же умная девочка. Она приедет к нему, и они будут жить вместе на проспекте Щорса или на Карповке...

– Хорошее будет лето, – услышал он рядом женский голос.

Близко от него стояла, опершись на перила, официантка. У нее было усталое и не очень молодое лицо.

– Откуда вы знаете? – резко спросил Марк.

– А я уже второй год на этой линии стою. Все местные приметы знаю. Сегодня Самсониха, а вчера был Самсон...

Стиснув зубы, Марк большими шагами ушел на корму. Самсон и Самсониха, думал он. Прогноз счастья на целый год. Она проснется завтра утром и первым делом посмотрит на небо. На небе не будет ни облачка. О, как бы я хотел, чтобы завтра было безоблачно!

Теплоход, бурля винтом холодную ртуть реки, выходил на фарватер.

1959

## Сюрпризы

Записи! Достает Л.Соколов. Герка все знает.

Что получится, если ежа женить на змее? Ответ: два метра колючей проволоки.

Ее зовут Людмила Гордон. Ого!

Современный стиль «бибоп» связан с именем головокружительного Чарльза Паркера.

Татьяна, ты роковая женщина.

А ты болван!

Сама дура.

В понедельник комсомольское. С занесением в личное, как пить дать.

Мраморный зал. А 0-00-04.

Выпивон – Герка, закуску принесут девочки. Музыку притащат медики, дух взаимопонимания внесу я.

Мне тошно.

Констебль и Тернер похожи на импрессионистов, а жили гораздо раньше.

Художники хорошие у англичан, мощные писатели, а композиторы? Не знаю ни одного. Узнать!

Блок писал, что для того, чтобы понимать лирику, надо самому быть «немного в этом роде».

Позвонить Соколову насчет записей.

Кирилл, смотаемся в перерыве?

?

На «Плату за страх»?

Михаил лежал с ногами на диване и читал свою старую записную книжку, которая неожиданно обнаружилась в ящике письменного стола. Кажется, мама за эти три года не притрагивалась к его бумагам. Михаил шевелил пальцами босых ног и улыбался. Веселое было время. И когда все вместе, и с девушкой, и грусть даже была веселой. Идешь один, тошно тебе, тучи громоздятся на горизонте, и вдруг струя какого-то особенного ветра или запах мокрых листьев на бульваре – и тебе хочется рвануться и побежать-побежать-побежать... И бежишь как бешеный (хорошо, что еще не зажгли фонарей), заскакиваешь в телефонную будку, вынимаешь вот эту записную книжку и, услышав чей-то голос, начинаешь басом читать стихи, а сам смотришь стеклянным взглядом за черный контур Ленинграда и, холодея, чувствуешь, что там море.

Сейчас все как-то иначе. Время прошло, прошла юность. Сейчас идет молодость. Зрелая молодость, хе-хе-хе. И вот спустя три года ты садишься к своему старому письменному столу и находишь в нем все так, как было. Стол стоит, словно памятник твоему прошлому. Не рано ли тебе воздвигать памятники? Но все-таки это очень приятно, что здесь все так, как было. Это очень чутко со стороны мамы.

Михаил отложил записную книжку и обвел глазами комнату. В зеркале, висящем на прежнем месте, отражались голые ступни и раскрытый чемодан. Михаил прилетел в Ленинград несколько часов назад. В ушах его еще стоял грохот и свист невероятной дороги. Самолет Певек-Магадан, самолет Магадан-Хабаровск, самолет Хабаровск-Москва, самолет Москва-Ленинград. Двадцать четыре часа грохота и свиста! Неистовая техника двадцатого века проволочла его через весь континент и сбросила на старый диван, который равнодушно и радушно принял в свое лоно хозяина, маменькина сынка Мишу, стильного малого Майкла, двадцать пятый номер факультетской баскетбольной команды. Словно и не было этих трех лет. Откуда может знать старая рухлядь про эти три года? Старая, дореволюционная, выцветшая, пообтрепанная рухлядь? Давно пора все это выбросить отсюда и заменить современной мебелью. Старые друзья нашей жизни! Милые добрые памятники юности!

Зазвонил телефон. Чутко со стороны мамы, что даже телефон она оставила здесь. Когда-то Михаил потребовал, чтобы телефон из бывшего кабинета отца был перенесен к нему в комнату. Он объяснил, что телефон необходим ему для «творческих консультаций». Тогда они вдвоем с Кириллом писали киносценарий. И это действительно было очень удобно: не вставая с дивана, он мог трепаться с Кириллом, и с Людкой Гордон, и со всем городом, с кем угодно.

– Алло!

– Старик! – завизжал в трубку Кирилл.

– Это ты, старик? – изумленно спросил Михаил.

– Конечно, старик, это я.

– Боже мой, это ты!

– Ну да, старик.

– Это ты, старик, черт тебя подери!

– Ты не помешался, старик, после перелета? – заботливо спросил Кирилл своим удивительным ребячьим голосом.

– Прости, старик, последнее письмо я получил от тебя с Урала, поэтому я и был поражен сейчас.

– Последнее письмо! – засмеялся Кирилл. – Это было больше года назад, и ты, конечно, не ответил.

– Я ответил. Месяца через три. Ночевали в Усть-Мае, и я настроил тебе целое послание, шедевр эпистолярного жанра.

– Хорош ответ! Я получил его через полгода в Питере. Ребята с Урала переслали мне его сюда.

– Какого же черта ты не отвечал?

– Как раз собирался ответить, старик.

Они захохотали. Михаил легко представил, как трясется от смеха его толстый друг, обжора и выдумщик. Наконец Кирилл собрался с силами:

– Слушай, старик. Мне вчера Антонина Сергеевна сообщила, что ты везешь свои кости обратно, и я уже все обдумал.

– Ты уже все обдумал! – восхитился Михаил.

– Все до мелочей. Собираемся у меня в восемь. Постараюсь, чтобы были все старики, все, кто сейчас в городе. Есть кое-какие сюрпризики для тебя.

– Выкладывай сейчас.

Кирилл немного помолчал.

– Сам увидишь. Итак, сэр, без церемоний, просто в смокинге, ровно в восемь. Тряхнем стариной, а?

После Кирилла позвонил Глеб Поморин. Оказалось, что он уже знает о сборище у Кирилла.

– Я к тебе сейчас приеду, и пойдем вместе, – предложил Михаил.

– Ладно, приезжай. Только я теперь не там живу.

– Где же?

– Ты помнишь адрес Татьяны?

– Танькин дом? Еще бы не помнить. Что? Ты теперь там живешь? Давно? Два года уже? Сын уже у вас? Черт бы вас побрал, старики!

Михаил повесил трубку и стал надевать ботинки. Он испытывал странное чувство, похожее на ревность, хотя никогда не ухаживал за Танькой и никогда... Нет, однажды на вечеринке он попытался ее обнять, но это было просто так. Ему тогда казалось, что все девчонки в него влюблены. Получил по щеке. Очень был расстроен, а через пять минут целовался с Людой на балконе. А Кирилл стрелял в них из водяного пистолета. В тот вечер все словно с ума посходили. Надо будет отыскать Люду, но это потом.

Михаил оделся очень тщательно (пусть не думают, что на Севере одичал), поговорил с мамой (ну конечно, мамочка, до развода мостов обязательно. Правда, я повзрослел и поумнел. Да-да, завтра собирай всех родственников, отдаюсь на растерзание), вышел на улицу, посмотрел, как разъезжаются такси со стоянки, вдохнул всей грудью ленинградский воздух (о да, это ленинградский воздух!) и пошел по проспекту.

«Я люблю этот город, – подумал он, – и пойду по нему пешком».

Идти было как-то странно, он не понимал отчего, а потом догадался: руки не заняты ничем. Он уже отвык ходить со свободными от ноши руками. Он долго шел, пока не вышел на набережную канала, где высился серый Танин дом. Пошел к дому, с удовольствием стуча каблуками по старым каменным плитам, и тут увидел Таню. Она шествовала навстречу и катила перед собой детскую коляску. В коляске стоял и смотрел вперед, как капитан, маленький Поморин. Таня, как и раньше, была очень модно одета. Михаил остановился. Татьяна равнодушно прошла мимо.

– Здорово, мать, – сказал он.

Она вздрогнула и обернулась.

– Мишка!

И бросилась целоваться.

«А раньше-то не разрешала дотронуться», – подумал он, целуя ее.

– Познакомь с Глебовичем, – попросил он.

– Ваня, это дядя Миша, – сказала Таня.

– У-у, – грозно сказал малыш.

– Это он тебя пугает. Он всех незнакомых сначала пугает.

Михаил протянул малышу шоколадку.

– Ты с ума сошел! – закричала Таня. – У него всего три зуба, а ты ему шоколад. – Она посмотрела на этикетку. – Съем сама.

Они сели на гранитную скамейку. Стали есть шоколад и болтать.

– Ну, как живешь?

– Как тебе сказать? Как и все.

– А Глеб?

– Учится на заочном, на следующий год кончает. Ты его не узнаешь. Он такой стал... не такой, как был. Еле уговорила его уйти из рабочего общежития. Вот видишь, ты даже не знаешь, что он там жил. Только когда я, – она нарисовала пальцем в воздухе, – только тогда

он переехал к нам. Тесно, из-за этого и ругаемся, наверное, – закончила она задумчиво, глядя в сторону.

– Танька, а разве вы с Глебом раньше?..

– Да. Он мне писал стихи.

– Кто тебе не писал стихов? Я тоже писал.

– Ты только издевался надо мной. И в стихах тоже. Ведь у тебя же не было ко мне ничего серьезного. Правда, Мишка? Нет, ты скажи прямо.

– Конечно, не было, – сказал Михаил.

Появился здоровенный неузнаваемый Глеб.

Минуты две Глеб и Михаил хлопали друг друга по спинам и мычали нечленораздельное. Потом вышла Танина мама и увезла Ваню. Малыш помахал Михаилу ручкой. Супруги Поморины покосились на Михаила. Тот изобразил восторг. Он знал, что маленькими надо восторгаться.

– Ты все-таки надел этот галстук? – ядовито спросила Таня у мужа.

– Да, я надел этот, – твердо ответил Глеб и посмотрел на нее.

Второй сюрприз сразил Михаила. Это была Людмила Гордон в очень широкой блузке, которая, однако, уже ничего не могла скрыть. Люда открыла им дверь Кирилловой квартиры и, увидев Михаила, сразу же покраснела. Поморины прошли вперед, а Люда и Михаил с минуту молча смотрели друг на друга, оба красные. Потом Михаил подошел к ней и поцеловал в щеку.

– Видишь, какой я стала уродиной, – сказала Люда.

– Чудачка, что может быть прекраснее этого? Ты лучше скажи, кого мне надо было в свое время пристрелить на дуэли?

– Его. – Люда качнула головой в глубину квартиры, где слышался ослепительный тенорок Кирилла.

«Так, – подумал Михаил, – значит, он неспроста стрелял тогда в нас из водяного пистолета».

Пышущий, сверкающий, сверху напомаженный, снизу лакированный Кирилл влетел в прихожую, словно шаровая молния. Он сразу кинулся на Михаила и смял его дружеским напором. Он сразу смял какую-то гадость, которая стала подниматься в Михаиле.

– Ну, как ты находишь мою уродину? – закричал он, широким жестом демонстрируя Люду. Но когда они пропустили Люду вперед и пошли за ней в комнаты, Кирилл надавил Михаилу на плечо и прошептал: – Старик.

Словно плеснуло чем-то влажным и широким (то ли музыка, то ли водопад), когда Михаил вошел в комнату и все уставились на него. Друзья, приятели, девочки, черти полосатые. Переженились и ждут детей. И всем он дорог. Все пришли сюда из-за него. Нужно будет следить за собой, а то еще разревусь. В комнате было человек двадцать, не меньше. Друзья филфаковцы, художники, Ласло Ковач почему-то здесь оказался, а из медиков только Сашка Зеленин, а вот и «просто девочки» – Сима, Клара, а эта... Как же ее зовут?.. Помню только, что познакомились с ней в Одессе, она ныряла с аквалангом.

Все окружили Михаила и стали с ним целоваться. Его целовали и лупили, хватили за костюм (какие ткани, ребята! Мишка-золотишник приехал!). Кто-то совал рюмку. Михаил опомнился, когда поцеловал совершенно незнакомую девушку.

– А это, между прочим, моя жена Инна, – растерянно сказал Сашка Зеленин.

– Что ты говоришь! И тем не менее! – закричал Михаил, оттолкнул локтем Сашку и еще раз поцеловал его жену. Кругом загрохотали. Сомнений не было – приехал тот самый Мишка, которого все помнили и любили.

Сначала все пошло по-старому. Кто-то танцевал. Кокнули пару пластинок. Изнемогая, острил Кирилл. Борька, как всегда, сразу «накирялся», и аквалангистка вывела его на балкон.

«Ясно, они муж и жена», – с некоторым раздражением подумал Михаил, снял пиджак и сделал стойку на руках, а потом обратное сальто. Он сделал это для того, чтобы показать, что он тот же самый, кого все знают и любят, молодой, свободный, неженатый... Но почему-то ему стало после этого неловко. Он надел пиджак и отыскал взглядом Сашину жену Инну. Та улыбнулась ему так, как улыбаются детям.

И только за столом стало выясняться, что вечер не получился. То есть это был оживленный, веселый вечер, много музыки, много вина, остроты сыпались и новые анекдоты, и уже зашумело в голове, но – это был не тот вечер. И в промежутках между общим смехом Михаил слышал со всех сторон разное.

**Люда.** А где ее достанешь, хорошую? Нет, Миша, извини, мне нельзя ни капли.

**Таня.** Подождала бы ты пол года, я бы тебе отдала Ванькину коляску.

**Зеленин.** Мы сейчас работаем с аппаратом «сердце-легкие».

**Аквалангистка** (*тихо*). Постыдился бы, вести себя не умеешь. Посмей только. (*Громко.*) Клара, вы все-таки решили купить эту финскую спальню?

**Кирилл.** Книжка выходит в начале следующего года. Обещают приличный тираж.

А Глеб почему-то сидит чужаком и рассеянно слушает Сашку.

– Глеб! – крикнул ему Михаил. – Твое здоровье! – И приподнял рюмку. Глеб улыбнулся застенчивой и рассеянной улыбкой – прежний Глеб.

– Почитаешь что-нибудь новое? – спросил Михаил.

Глеб покачал головой так, что можно было больше не спрашивать. Это было выше понимания: раньше после трех рюмок Глеба нельзя было удержать – читал и читал.

– Туго было на Севере, Миша? – спросил Сашка Зеленин.

«Вот кого я люблю, – подумал Михаил, – его и всех тех медиков».

– Тише, друзья! – крикнул Кирилл. – Сейчас нам Мишка будет рассказывать о Севере. Расскажи нам, Миша, про медвежье мясо, про торосы, про самородки, про бандитов и про чистый спирт.

Все зашумели.

– Расскажи нам про мясо!

«Спешу и падаю», – подумал Михаил и сказал басом:

– Мясо. Дайте мне колбасы.

Наш, наш прежний, добрый, старый Мишка.

– Спирт. Налейте мне коньяку.

Тот, тот самый, молодой, веселый, неженатый...

Вечер не получился. После ужина это стало особенно ясно. Общество разбилось на кучки, и везде разговаривали о диссертациях, или о книгах, или о картинах, о финской мебели, об уходе за новорожденными и о жилищной проблеме. А когда подходил Михаил, разговор прерывался и говорили:

– Майкл, расскажи нам о мясе.

– О золоте.

– О торосах.

– О бандитах.

– О спирте.

И заранее смеялись. А потом все вроде пошло хорошо. Кирилл сел к пианино, пели «Через тумбу» и «Чаттанугу», «Наши зубы остры», «Шар голубой», «Безобразия».

– Пойдем, старик, потолкуем, – сказал Кирилл и повел Михаила на балкон.

Черный контур города на фоне бледно-зеленого неба напоминал горную цепь. А огоньки окон там словно горные аулы. Внизу, прямо под балконом, дико заскрежетал трамвай. Он шел с островов и был полон молодежи.

«О трамвай! Я люблю тебя за то, что у тебя нет пневматических дверей. Таких, как ты, мало осталось».

– Тебе немного не по себе, – сказал Кирилл, – я вижу. Как ни говори, а оторвался ты от всего этого. Правда?

«Ты везешь мою любовь, старая колымага. Тащишь ее с островов, откуда уходят яхты, где байдарки уложены на берегу, словно сигары, где шумит асфальтированный лес, где урчит и рывкает стадион, тащишь через весь город мимо темных домов, каждый из которых словно целая поэма, тянешь ее над Невой, малыш, такой самоуверенный и гордый, будто не можешь свалиться в воду, и бочком вокруг центра тащишь ее все дальше, в дымную и шумную страну окраин».

– Пора, старик, нам перемениться. Все это прекрасно, наша юность. Приятно вспомнить прошлое, но ведь нам уже двадцать шесть лет...

«Ты деловой и рассеянный – вон ты что-то рассыпал. Кучу серебра и фосфора. Или это ты приветствуешь меня на прощанье? Ты такой, такой, такой... Я могу заплакать из-за тебя, носильщик моей любви, потому что не видел тебя три года, потому что я выпил лишнего сегодня».

– ... Да-да, старик, начинается наше время. Мы в таком возрасте, когда надо выходить на активные позиции жизни. И сейчас особенно важна дружеская спайка.

– Это верно, – пробормотал Михаил. – Что верно, то верно.

Трамвай скрылся за углом. Уже появился со стороны островов новый, но это был другой трамвай. До Михаила дошло.

– Слушай, старик, – воскликнул он, – ты здорово сказал! Ты сформулировал то, о чем я последнее время думаю.

Кирилл довольно усмехнулся.

– Мы с тобой всегда находили общий язык.

– Вот именно, возраст такой, – продолжал Михаил. – Я словно подхожу к какому-то барьеру. Перемахнешь его – и все изменится, и сам станешь другим.

– Неужели ты еще не перемахнул барьер? Подумай, может быть, уже?

– Не знаю. Вряд ли, – задумчиво сказал Михаил. Ему доставлял большое удовольствие этот разговор. Он любил серьезные и не совсем отчетливые беседы.

Кирилл обнял Михаила за плечи.

– Дружище, я ведь на год раньше тебя вернулся и сейчас, кажется, крепко встал на ноги. Книжка очерков скоро выходит. Везде меня уже знают. Думаю, что скоро попаду в штат... (он назвал крупную газету). Тебе теперь легче будет. И ничего тут нет такого. Это закон дружбы. Ух ты, Мишка, – задохнулся он от радостного возбуждения, – мы с тобой теперь развернемся. Можно тот сценарий наш двинуть. Как ты думаешь?

– Можно, конечно. Почему бы нет, – пробормотал Михаил.

Он не мог даже представить себе, что снова сядет за тот сценарий.

Весь длинный путь до дома он прошел пешком.

«Почему я не сказал Кириллу, что собираюсь вернуться туда? – думал он. – Ведь мы всегда были откровенны друг с другом. Люда пришла на балкон, поэтому я и не сказал. Эх... если бы я написал ей хоть одно письмо с Севера, может быть, все было бы иначе. Глупости, ничего не могло быть иначе. Раз что-то произошло, значит, иначе и не могло быть. Герка стал бандитом и сидит в тюрьме, а Глеб – передовик производства, студент-заочник и Танин муж... Сашка Зеленин – ученый-хирург. Разве могло быть иначе? Кирилл – журналист, очеркист, оптимист и муж Люды. Все изменилось, и дело вовсе не в должностях. А я? Что со мной стало? Перешагнул ли я через барьер?»

Он пришел домой, открыл дверь своим ключом и, сняв ботинки, бесшумно, как кошка...

– Мишенька, что ты там уронил? – крикнула мама.

...прошел к себе. Повалился на диван. Раскрытый чемодан так и стоял возле дивана. Старая записная книжка лежала на столе. Михаил сунул руку в чемодан и вытащил блокнот, исписанный от корки до корки там, на Севере.

Сопки без конца. С самолета все это выглядит как бесчисленное стадо верблюдов.

Ни дня без строчки. Стендаль.

Маркшейдер Иванов, обогатители Петров, Сидоров, экскаваторщик Бурокобылин взяли на себя обязательства...

В обстановке огромного трудового подъема горняки прииска «Золотистый»...

Я называю героями не тех, кто велик мыслью или силой, но только тех, кто велик сердцем. ...Где нет великого характера, там нет великого человека, там только идола, изваянные для низкой толпы. Ромен Роллан.

Сколько можно заседать, Женька? Терпенье лопается.

Не устраивай истерики. Лучше выступи сам и дай им жизни.

А что! Сейчас выступлю. (Половина листочка оторвана.)

Может ли вегетарианец полюбить женщину? Ответ: может, если женщина ни рыба ни мясо.

Отвечая на благородный почин тружеников Индигирского управления, коллектив прииска «Буранный»... Я лопну от злости из-за этого языка. А напишешь иначе о том же – режут!

Я никогда не вел дневника и никогда не буду вести. Это первая и последняя запись, что бы там ни было. Почему меня сейчас потянуло к карандашу? Потому что я еще жив, черт побери! Игоря уже не потянет к карандашу. Да его, собственно, и никогда к нему не тянуло. Его тянуло к спирту и к знаменитой красавице «Машке с бензоколонки». Интересно, подумал ли он о ней в последний момент? Боже мой, я никогда этого не забуду! Да разве сможет кто-нибудь из тех, кто выберется отсюда, забыть это? Раз в Ленинграде мы зажгли свечи и стали трепаться о том, кто какой выбрал бы способ переселения в мир иной. Я сказал «авиационная катастрофа», и все со мной согласились. Потому что это захватывающе! Дурачье! Что мы знали об авиационных катастрофах? Но я видел это, видел – и пока еще жив, вот ведь удача!

Я сидел рядом с Игорем. Мы словно висели в вате. Ребятам в фюзеляже было наплевать на туман. Они слышали шум моторов и знали, что машину ведет Игорь. Валялись на мешках. Кто спал, а кто трепался. Не знаю, случилось ли что с приборами или что-то случилось с Игорем, но вдруг прямо по носу появилось и мирно надвинулось на нас что-то серое и огромное. Я увидел рот Игоря и его бешеные глаза. Он притянул меня вплотную и проорал: «Влопались! Беги в хвост, Мишка!» – и вышвырнул из рубки. Когда я покотился по мешкам, ребята чертыхались. Самолет чуть ли не встал на попа. Мы все кучей ворочались в хвосте, и я видел только чей-то вылупленный глаз и рот с пломбированным зубом. В последний момент соседа вырвало прямо мне в лицо.

Игорь сделал все, что мог, но он уже ничего не мог сделать. Теперь, когда остатки проклятого тумана, словно клочки шерсти, висят кое-где на вершинах сопки, я вижу, куда мы

тогда попали. Мы прошли по коридору прямо в котел. Как это случилось? Друг Игорь, спи спокойно – следовательно теперь до тебя не добраться.

Мы все переломали кости, и нас разбросало по склону. У меня, кажется, сломана только нога. К утру сползлось к обломкам самолета восемь человек. Потом мы с Костей приволокли Сидорова и грузина, не знаю, как его зовут. Кажется, он уже готов. Нет, пошевелился. Сколько народу погибло сразу, я до сих пор не знаю. Видел только Игоря и радиста. Ну, а мы, оставшиеся? Мы съели почти все, что у нас было. Связи нет. Жечь уже нечего. Лежим кучей в шалаше из обломков самолета. Четвертый день. А солнце как горит над этой белой страной! Нет, я не проклинаю эту страну. Я люблю ее, хоть... она и переломала мне кости.

Все-таки я что-то делал здесь, я, Мишка-корреспондент, известный всем шоферам колымской трассы. Я видел здесь настоящих людей и писал о них дубовым языком дубовые заметки, но все-таки писал о них. И если я останусь жив, я буду писать о них, но не так, как раньше. А если нет? Сейчас я буду писать, пока не подохну. А летом, когда эта сопка зарастет брусникой... Нет, мы будем живы, ребята! Сейчас я всех вас растолкаю и покажу – смотрите, там, по руслу замерзшего ручья, бегут две собачьи упряжки.

Костя стреляет в воздух.

Это орочи, я узнаю их по одежде...

1959

## С утра до темноты

Иногда меня охватывает отчаяние. Иногда мне становятся противны мои любимые мыши, кролики и даже обезьянка Стелла. Видеть я не могу в такие дни свои суперфильтры и сверхсовременные термостаты.

Мне хочется хватить кулаком по столу, выйти из лаборатории, насвистывая: «Лечу я, ого!» – распахнуть дверь в кабинет шефа, крикнуть «Гуд бай, пузанчик!» – потом спуститься вниз, в отдел кадров, хватить кулаком по столу, забрать свою трудовую книжку и выйти на волю.

Где-то люди занимаются парусным спортом и подводной охотой, и снимаются в кино, и поднимают вверх самолеты, и играют на саксофонах. Масса парней моего возраста занимается великолепными делами, а я... А я бесконечно вожусь с мышами, с кроликами, с обезьянкой Стеллой, колю их иглой, некоторых убиваю, дрожу над жизнью других, делаю срезы, записываю показания приборов.

А Степка Черкасов, которого выгнали за академическую задолженность еще с четвертого курса, сейчас играет в футбольной команде мастеров. Изъездил весь Союз, был в Англии и в Италии. Одет как дипломат.

Ну хорошо, мне все понятно. Как говорит шеф на собрании научных сотрудников института: «Задача, равной которой по благородству нет, стоит перед нами. Человечество ждет, друзья!»

Это верно, человечество чего-то ждет от нашего шефа. Но ждет ли оно чего-нибудь от меня? Я титрую мышей и фильтрую культуру и каждую неделю отношу результаты – даже не самому шефу, а одному из его заместителей. Правда, через месяц мне обещают дать тему диссертации, но что это будет за диссертация?! «Наблюдения над некоторыми изменениями некой субстанции при некоторых условиях». Добросовестная компиляция, список проштудированной литературы, какой-нибудь жалкий опыт. Сдвинется ли с места воз хотя бы на микрон от всех моих трудов? С таким же успехом на моем месте мог бы сидеть Степка Черкасов, а я, думаю, был бы неплох на его месте инсайда.

Говорят, эпоха гениальных одиночек прошла. Нельзя, просидев сто ночей взаперти, отрастив бороду и обовшивев, изобрести космический корабль. Тысячи людей в нормальных условиях, охраняемые профсоюзом, трудятся и, как видно, добиваются неплохих результатов. Так же, говорят, обстоит дело и с нашей проблемой. Только нам нечем похвастаться.

Но мне почему-то кажется, что воз сдвинет с места какой-нибудь гений. Может быть, он уже ходит где-нибудь, тихий и незаметный, а может быть, еще не родился.

Но уж я-то не гений, это точно. Не похож я на гения. Это будет, наверное, мозговик марсианского типа с большим черепом и хилым телом. А я не такой. Я какой-то уж чересчур нормальный.

– Юра, вас к телефону! – кричат мне из коридора. Я встаю и потягиваюсь так, что хрустят плечевые суставы. Вижу в окне, как Кешка, шофер нашего шефа, ходит вокруг машины и поливает ее из шланга. Кешка похож сейчас на китайского фокусника. Голый по поясу, бронзовотелый, он играет с тяжелой ослепительной струей, которая кажется мне каким-то чудом природы.

Я рад, что меня позвали к телефону. Работа не клеится. Не клеится она у меня в такие погожие дни.

– Юрик, это ты? – слышу я в трубке взволнованный женский голос.

– Лена? – Я изумлен.

Лена в моем сознании всегда связана с вечерами, с нарядной толпой возле метро, с неоновыми вывесками, с какими-то джазовыми аккордами. Никогда она не звонила мне в такое время. Никогда в это время я не думаю о ней.

– Юра, мне нужно срочно тебя увидеть.

И тут я обнаруживаю, что говорю с ней по внутреннему телефону.

– Ты что, у нас внизу?

– Да. Спускайся скорей.

– Женщины! Сколько ученых вы погубили! – говорю я.

– Довольно! Спускайся скорей!

Она должна была прибавить «ученый балбес» или что-то в этом роде, но не прибавила.

Я бегом спускаюсь по лестнице и вижу Лену.

– Откуда ты, прелестное дитя? – кричу я.

Это последняя попытка. Я уже понял, что что-то случилось, но мне не хочется этого. Не люблю, когда жизнь приоткрывает свой трагический лик. Живешь, смеешься, ссоришься, и вдруг – на тебе – что-то случается.

– Что с тобой, Ленка?

– Юра, я пришла к тебе как к врачу.

– Я не врач, а младший научный сотрудник. Что случилось, говори скорее, а то мне кисло становится.

– Понимаешь, три дня назад папа пришел с работы на три часа раньше...

– Заболел?

– И да, и нет.

– Что же тогда?

– У них было какое-то поголовное обследование, смотрели на рентгене, и у папы в легких обнаружили затемнение. Предполагают туберкулез.

– Вот тебе раз!

– Он никогда ни на что не жаловался... никогда ни на что, – говорит Лена и начинает плакать.

– Ну-ну, собери и проглоти все свои слезинки. Это ведь только так страшно звучит – туберкулез. Сейчас он полностью излечивается.

– Правда?

– Ну конечно. Дай бог, чтоб у твоего отца был туберкулез.

– А что может быть еще?

– Ну... Значит, чувствует он себя хорошо?

– Что может быть, кроме туберкулеза, Юрий?

– Ну, мало ли что.

– Неужели может быть это?

– Исключено.

Я вынимаю сигарету, закуриваю и повторяю с металлической нотой:

– Исключено.

А Лена заглядывает мне в глаза так, как это бывает в кино.

– Юра, я имею право просить твоей помощи?

– Что за дикий вопрос? Кто же, если не ты...

– Помогите устроить папу в какую-нибудь хорошую клинику. У тебя, наверное, есть знакомые.

– Попробую. Подожди немного.

Я звоню по телефону в институт туберкулеза. Там учится в аспирантуре мой однокашник.

– А, это ты, старик, – говорит Борис. – Как жизнь?

– Прекрасно, – отвечаю я. – Слушай, – говорю я ему. – Знаешь, что мне от тебя нужно?

– Денег нет, – хохочет Борис.

– Боже мой, – вздыхаю я, – как тупеют люди после первого года аспирантуры.

Рассказываю ему обо всем. Человек быстрых решений, Борис кричит, чтобы я немедленно вез «старикашку» к ним в консультационное отделение, так как там сейчас будет принимать сам Метелицын.

– Подожди, Лена, – говорю я и бегу наверх. Отпрашиваюсь у шефа, излагая ему суть дела, причем Лена фигурирует в рассказе как двоюродная сестра.

– Это та девушка, что приходила к нам на первомайский вечер? – вдруг спрашивает «пузанчик».

– Да, – по-дурацки отвечаю я.

– Кузина! Знаем мы этих кузин. Старый и вечно юный треп. Идите, Юра. Может быть, написать записку Метелицыну?

Я бегу вниз, хватаю за руку Лену, бежим через вестибюль и вылетаем из подъезда. Солнце и ветер ударяют мне в лицо. Я ничего не вижу и вдруг осознаю, что чертовски рад оттого, что вырвался на свежий воздух, что держу за руку Лену. В первый раз мы вместе не вечером, а днем, впервые вместе под солнцем. Невероятно, но факт. И это не так уж плохо. Но я вспоминаю причину и приструниваю себя.

Начинаю различать дома на улице, по которой мы быстро идем, вижу впереди сквер и вижу, что именно туда и тянет меня Лена. Там, на скамейке у входа, сидит и читает «Огонек» замечательный старик. Бритый, жилистый и сильный, он похож на старого спортсмена, на тренера по теннису, на чемпиона Санкт-Петербурга по конькам или на бывшего летчика. Я сразу его узнаю. Я был у Лены, когда ее родители уехали на дачу, и мельком видел семейный портрет на стене.

– Юра, вот мой папа, – говорит Лена. – Знакомьтесь.

– Я вас сразу узнал, – говорю я.

– Простите, каким образом? – удивляется он.

– По портрету.

Лена тихонько стучает меня по спине, но я упорно поясняю:

– Ваш большой семейный портрет. В столовой, кажется, он висит.

– Да, в столовой, – говорит он и смотрит на Лену.

– Папа, Юра обещал помочь нам. Сейчас мы поедем на консультацию к профессору Метелицыну.

– Объясните ей, пожалуйста, что вся эта паника напрасна, – говорит отец Лены. – Туберкулез сейчас полностью излечивается. Правда ведь?

– Конечно. Несколько месяцев лечения, и все в порядке. Я уже объяснял.

Мне кажется, что Лена немного успокоилась. Она даже улыбается и шепчет мне:

– Ты с ума сошел! Он же ничего не знает.

Это про мое посещение их квартиры.

Мы выходим на улицу и берем такси. И Лена снова начинаем волноваться. А старику хоть бы что. Он сидит совершенно спокойный.

Профессор Метелицын идет по коридору. На лоб падает седая челка, в руках он несет горящую папиросу. Это особый профессорский шик – ходить по лечебному учреждению с папиросой. Профессор худой и длинный, как и отец Лены. Я думаю, что они составили бы вполне приличную пару на теннисном корте.

За профессором – обычная свита. И Борька тоже там. Я оставляю Лену с отцом на диване и, салютуя, подхожу к Борьке.

– И где ты только откапываешь таких девочек? – спрашивает он, заглядывая мне через плечо. – Можно позавидовать. Ну ладно. Снимки и анализы есть у старика? Порядок.

Он достает мне халат, и мы входим в обширнейший кабинет, где за столом возле негатоскопа восседает Метелицын, а вокруг человек двадцать врачей. Они по очереди читают истории болезней, ставят на негатоскоп снимки. Метелицын курит, кивает головой, смотрит на снимки. Иногда он коротко бросает диагноз, а иногда предлагает коллегам «порассуждать сообща».

Наступает наша очередь. Борис рассказывает профессору про отца Лены, показывает анализы, ставит один за другим снимки.

Метелицын долго молчит, очень внимательно смотрит на прямой снимок, и мы все смотрим на четкое, круглое, величиной с детский кулачок, пятно в правом легком.

– Страшная штука, – говорит профессор, снимает очки, и я вижу, что у него очень усталое лицо.

– Вы считаете, Антон Петрович, что здесь?.. – спрашивает Борис и бросает на меня испуганный взгляд.

– Да, конечно, это рак. Неоперабельный центральный рак.

Я ошеломлен. Это была моя первая мысль, когда Лена сказала, что у отца что-то нашли, но потом я произнес железным тоном глупое слово «исключено» и сам уверовал в это. Я подумал, что эти страшные мысли появляются у меня из-за моей работы, и даже в глубине души посмеялся над собой.

Профессор долго рассказывает аудитории о рентгенологическом диагнозе рака, о том, как на это дело смотрят в Америке, говорит, что, разумеется, необходимо дополнительное обследование, чтобы диагноз стал бесспорным, что данного больного он возьмет к себе в диагностическое отделение и, ну да, ну да, применит к нему курс рентгенотерапии, – и все это он говорит обычным ровным тоном.

Но я уже видел его лицо, когда с него вместе с очками съехала обычная маска третейского судьи. Я понял, что он устал, что ему тяжело выносить приговоры.

– Пойдемте в рентгеновский кабинет. Я хочу осмотреть больного под экраном.

Толпа врачей с грохотом приподнимается со стульев. Я первым выскакиваю в коридор. Что-то в нем изменилось. Вероятно, это лица больных, уставившихся на меня.

А отец Лены спокойно читает еженедельный иллюстрированный журнал «Огонек». Торчит его сухое колено, обтянутое хорошей серой тканью, и покачивается великолепный черный ботинок.

Лена беседует с какой-то женщиной.

Все это в высшей степени странно.

Я подхожу и слышу голос Лены.

– И вы совершенно выздоровели? – спрашивает она женщину.

– Да, совершенно, – отвечает та.

– Профессор хочет посмотреть вас, – говорю я.

Старик отдает Лене журнал и встает.

И снова мы видим это страшное пятно теперь уже на голубоватом экране. Теперь оно движется и не кажется таким круглым, как на снимке. Профессор руками в перчатках из толстой резины двигает за экраном отца Лены.

– Нео, – говорит он, – бесспорно, нео.

Зажигается свет. Профессор встает и кладет руку на плечо отца Лены. Как они похожи друг на друга! Великолепная пара теннисистов – два сухих высоких старика.

– Ну, голубчик, я кладу вас к себе в отделение. В диагностическое отделение.

– Разве диагноз не ясен? – спрашивает отец.

– Еще не совсем ясен.

– Благодарю вас.

Профессор, а за ним все врачи уходят из рентгеновского кабинета.

Остаемся только мы с Борькой и отец Лены. Он одевается.

– Ну вот, – говорю я, – сам Метелицын вас будет лечить.

– Оставьте, – глухо произносит старик. – Вы думаете, я не знаю, что такое нео? Это означает – новообразование.

– Ну и что же, – лепечу я, – что же из этого? Бывают и доброкачественные новообразования.

– Оставьте, – повторяет старик, застегивая верхнюю пуговицу рубашки и подтягивая галстук. – Вот что я вас прошу, Юра, – говорит он, – разберитесь с Леной. Не надо так, как сейчас. Лучше уж совсем не надо. Идет?

– Да-да, – говорю я, и мне становится стыдно оттого, что я даже не знаю его имени.

Я беру со стола записку Метелицына, и мы выходим в коридор.

Лена там ходит.

Прогуливается с выздоровевшей женщиной. Видимо, Лена совсем уже успокоилась. Весело улыбается при виде нас.

Я смотрю на ее нарочито растрепанные волосы и искусно подмазанные губы, и на туфельки-гвоздики», и на широкую юбку – на все, что раньше приводило меня в восторг, и все это кажется мне сейчас какой-то дикой чепухой.

Я вижу девушку, которая еще ничего не знает. Девушку, которая, оказывается, мне дорога.

– Спасибо, старик, – говорю я Борису.

Лена прощается с женщиной, и мы втроем спускаемся с лестницы.

– Леночка, Метелицын берет меня в свое отделение. Это большая удача.

– Чудесно! – говорит Лена. – Юрка, ты просто чудесно все устроил.

Да, как это я все чудесно устроил. Все хорошо, что хорошо кончается, – так, видимо, думает Лена.

Я вынимаю сигарету. Теперь я буду курить без передышки.

– Дайте сигарету, – шепчет мне на ухо старик. Я тайком сую ему пачку.

На улице продолжается солнечный ветреный день. На углу торгуют мороженым. Публика толпится возле автоматов с газированной водой. Тяжелый грузовик с прицепом везет бетонные плиты. Милиционер в голубой рубашке бегом пересекает улицу. Проходят туристы с непомерно огромными рюкзаками. Всюду на лотках масса клубники. Темно-красные горы клубники. Роскошные бомбочки с зелеными хвостиками и мятые ягоды. Лужицы красного сока. Черные пальцы продавщиц. Афиша летнего мюзик-холла. Парень прошел в потрясающей рубашке. Дзинь-дзинь – падают монетки. Кто-то целуется. Раскрытый в хохоте рот за стеклом телефонной будки.

– Я сейчас поеду на завод. Нужно ввести в курс дела Бунина. А ты поезжай домой и скажи маме – пусть соберет мне вещи в больницу.

– Хорошо, папочка.

Отец подставляет ей щеку, и Лена прикасается к ней своей щекой. Боится испачкать помадой. На мгновение я вижу рядом два глаза – отца и Лены – и поражаюсь, как это могут быть так близко два столь разных глаза? Старик протягивает мне руку.

– Я рад был вас узнать, – говорит он.

Я тупо молчу и смотрю на наши руки, на его пальцы с желтоватыми плоскими ногтями, обхватившие мою ладонь.

Старик уходит, и я долго не могу оторвать взгляда от его элегантной фигуры, мелькающей в толпе. Голова у него лишена малейших признаков облысения.

– Понравился он тебе? – слышу я Лену.

– Очень.

– Ты знаешь, Юрка, мне рассказывала женщина там, в коридоре. Она учительница, и когда она заболела туберкулезом, ей пришлось оставить школу. А сейчас она полностью излечилась! Настолько, что ей разрешили снова преподавать. Она там ждала какую-то справку. Здорово, правда?

– Я же тебе говорил, – мямлю я.

– Что с тобой, ученый муж?

– Лена! – говорю я и беру ее за руку. – Я буду думать о тебе всегда. И когда я не буду о тебе думать, все-таки я буду думать о тебе. Так и знай. Всегда и везде.

– Что с тобой?

Я притягиваю ее к себе – и в окружении мороженщиц, продавщиц клубники, туристов, пижонов (всех призываю в свидетели!) целую.

И больше уже не могу. Сажаю ее в такси, а сам бегу в метро, бегу по эскалатору, вскакиваю в вагон, растягивая смыкающиеся двери, сажусь, потом встаю и прохожу в конец вагона, заглядываю через плечо человеку, читающему газету, прочитываю заголовок передовицы, потом (когда он переворачивает) что-то о футболе, выхожу на моей станции, бегу вверх по эскалатору, наверху покупаю мороженое («Ленинградское», которое ненавижу), выбегаю на нашу площадь и, только увидев широкие стекла и лобастый фасад института, перехожу на шаг.

Удивленно смотрят на меня в проходной. Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору, и острый запах вивария, словно нашатырь, приводит меня в себя.

Я поправляю галстук, приглаживаю волосы, осторожно бросаю в урну омерзительную бумажку из-под мороженого и вхожу в лабораторию. Анна Леоновна уже снимает халат.

– Что это вы, Юра, прискакали? Рабочий день окончен.

– Я хочу тут немного побыть, – говорю я.

– Мысль?

– Да, мысли.

Я подхожу к окну.

Отмытая до невероятного блеска машина выезжает со двора. Сейчас Кешка подгонит ее к подъезду. В коридоре уже слышатся медленные стариковские шаги шефа.

Я беру с полки журнал и начинаю читать статью нашего шефа, в которой он полемизирует с одним зарубежным исследователем рака.

Я засижусь здесь сегодня до темноты.

Нужно привыкать. Теперь я часто буду здесь засиживаться.

Проходит десять минут, двадцать. Постепенно до меня начинает доходить смысл статьи.

1960

## Катапульта

### 1

Я впервые видел Скачкова таким элегантным. Все на нем было прекрасно сшито и подогнано в самый раз, а я выглядел довольно странно. На мне были засаленные измятые штаны и зеленая рубашка, которую я каким-то образом купил в комиссионке. Думал, черт-те что покупаю, а оказалось – самая обыкновенная зеленая рубашка. Итак, грязные штаны и зеленая рубашка. В таком виде я возвращался из экспедиции.

Поездка на теплоходе по этой тихой северной реке доставляла нам обоим большое удовольствие. Мы прогуливались по палубе от носа к корме и обратно по другому борту, приятно было.

Одного я только побаивался – как бы нам не вломили по первое число. Прогуливаясь по палубе, я прикидывал, кто из пассажиров мог бы нам вломить. Скорее всего, это могли сделать летчики – двое с желтыми погонами (летный состав) и один техник-лейтенант. Да, это будут они.

Я оглянулся – летчики удалялись, помахивая фотоаппаратами. Я посмотрел на Скачкова. Кажется, он и не думал об этом. Он был невозмутим и спокойно рассказывал мне, вернее самому себе, о своих творческих планах.

С него хватит. Это мне все эти церквушки в диковинку, а ему они – вот так! По своей натуре он не научный работник, а скорее художник. Конечно, древнее зодчество, фрески, пряники, мудрая простота, тра-та-та... Это много дает поначалу, но он не может все время исследовать, он должен создавать. Ведь он художник, и неплохой, скорее первоклассный.

– В Питере покажу тебе свою графику. Это что-то необычайное, – сказал он, улыбаясь.

Мне нравился Скачков. Я понимал, что он над собой издевается. Есть такие люди, что постоянно играют сами с собой. Казалось, что для Скачкова его собственная персона – только объект для наблюдений. Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и тип», «разнюнился», «вот дает» и т. д. Скачков был спокоен и ироничен. Я чувствовал, что это философ. Честно говоря, я немного восхищался им и думал, что в дальнейшем буду таким, как он. Прямо скажу – я совершенно серьезно относился к своей зеленой рубашке. Скачков был старше меня на 6 лет. Мне было 24 года, а ему 30.

Мы познакомились с ним в экспедиции. Он учил меня ловить щуку на спиннинг.

– Это же так просто, – говорил он, – смотри! Бросаешь блесну, – следовал размах и мастерский бросок, – подождешь немного и накручиваешь.

Мне нравилась эта охота, интересно было смотреть, как меж колеблющихся подводных стеблей появлялась серебристая блесна, а за ней с грузной стремительностью летела щука. Потом Скачков делал какое-то движение, и щука уже билась в воздухе словно повешенный.

У меня не получалось. Мне казалось, что размахиваюсь я не хуже Скачкова и накручиваю я точно, как он, но, видно, все-таки я делал что-то не так. Я вообще «неумека», как называли меня в детстве. Я думал, что навсегда погиб в глазах Скачкова, потому что мы каждый вечер охотились на шук, и я за все время не поймал ни одной. Наши лодки стояли в камышах, а над озером на холме чернела церковь, построенная без единого гвоздя, а у подножия холма в тихой заводи стоял наш катер. Катер с мягкими сиденьями и эта церковь. Термосы и костер. Щуки и спиннинг. Мне казалось, что я смог бы построить такую церковь, но разобраться в моторе катера было мне не под силу.

Скачков посмотрел на свое отражение в стеклянной стене ресторана, одернул пиджак и усмехнулся.

«Ишь ты, обарахлился», – казалось, говорила его усмешка.

Стекла ресторана полукругом выходили на нос теплохода. Я увидел там внутри Зину. Она сервировала столы к обеду. Я подмигнул ей. Она как-то смущенно улыбнулась и зыркнула в другую сторону. С другой стороны стеклянного полукруга в ресторан смотрели летчики – летный состав и техник-лейтенант. Мы пошли и столкнулись с ними на самом носу.

– Осторожней надо ходить, – сказал старший по званию, капитан.

– Виноват, – рассеянно произнес Скачков, и мы разошлись с летчиками.

Я посмотрел теперь на Зину с другой стороны, с правого борта. Она шла с подносом между столиками, нарочно глядя прямо перед собой, не обращая внимания ни на нас, ни на летчиков. Она была черненькая, маленькая, вся какая-то отточенная, словно шахматная фигура. Я представил, как стучат там, за стеклом, ее каблучки и как тихо позванивают пустые фужеры на ее подносе. Она такая и есть – четкий стук и тихий звон.

«Да-нет, есть-нет, вот счет – спасибо, уберите руки», – это четкий стук.

А что в ней тихо звенит, я не знал. Такое сразу не увидишь.

– Хорошая девчонка, – сказал Скачков, – женись на ней.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

– Да ты что?!

– А что? Лучшие жены получают из таких.

– Из каких это таких? – спросил я.

Скачков посмотрел мне в лицо и усмехнулся:

– Из таких маленьких и четких.

Ее четкость, понял я, для него не секрет, но знает ли он про звон?

На корме мы снова увидели летчиков. Двое из них стояли обнявшись на фоне флага Северо-Западного речного пароходства, а третий наводил на резкость фотоаппарат. Мы остановились. Капитан опустил камеру и пробурчал:

– Ну, проходите.

– Делайте ваш снимок, – приятно улыбаясь, сказал Скачков.

Он щелкнул, мы прошли.

– Эй, зеленая рубашка! – позвали меня.

Старший лейтенант протягивал мне камеру со словами:

– Не можешь ли ты, друг, щелкнуть нас втроем?

Чуть поспешней, чем надо это было сделать, я взял аппарат. Я увидел в видоискателе их всех троих. Теперь у меня была возможность рассмотреть их лица.

Капитан был в возрасте Скачкова. Он хмурился, как бы давая мне понять: «Снимаешь? Снимай! Твое дело – только нажать затвор, и все. И можешь идти. Раз-два!»

Старлей был помоложе его года на три. У него было лицо из тех, что называют открытыми. Он шурил хитроватые глазки и, видимо, был очень доволен тем, как ловко он приспособил меня для этого дела.

Техник-лейтенант был, наверное, моим ровесником. Он думал только о том, как он получится, и весь одеревенел под объективом.

– Внимание, – сказал я.

Летчики приосанились. Эти славные ребята понимали значение фотографии.

– Пятки вместе, носки врозь, – тихо сказал за моей спиной Скачков. – Грудь вперед, живот втяни.

Кажется, капитан расслышал. Я сделал снимок и отдал ему камеру. Мы со Скачковым снова пошли к носу теплохода и остановились, облокотившись о борт, возле ресторана.

Зина сидела, положив подбородок на кулачок, и смотрела вдаль на реку, залитую солнцем, и тихие лесистые берега. Другая официантка сидела рядом, что-то быстро говорила ей и смеялась. Но Зина будто ее не слушала, она смотрела вдаль, нет, не то чтобы мечтала, а просто смотрела на реку, а не на свою товарку и не на сервировку.

«Вот сейчас в ней и идет этот тихий звон», – подумал я и спросил Скачкова:

– А ты бы женился на ней?

Прежде чем ответить, Скачков посмотрел на реку и на Зину.

– Сейчас женился бы не раздумывая, но тогда не женился бы.

– Когда?

– Когда я женился на своей жене.

Вторая официантка что-то сказала Зине на ухо, хотя в зале никого не было, и та вдруг резко, вульгарно рассмеялась. И оттого, что звука не было слышно, впечатление от ее распахнутого рта с мостом и коронкой на верхней челюсти было особенно неприятным.

Я беспомощно посмотрел на Скачкова. Как мы будем выходить из этого положения? Ведь наговорили черт знает что.

Скачков смотрел на хохочущую официантку, потом сам засмеялся и посмотрел на меня. Я понял, что чуть было не сел в лужу, точнее, сижу уже в ней по горло, а он опять на высоте. Ведь он снова блефовал, вел свой обычный розыгрыш то ли самого себя, то ли меня, а скорее всего и себя, и меня, и всего вокруг. А я чуть было не рассказал ему про выдуманный мной «тихий звон».

## 2

Река текла нам навстречу совершенно неизменная, такая же, как триста лет назад, если не обращать внимания на бакены. Длинные отмели, частокол леса или свисающие к воде ивы, редкие хмурые избенки, женщина с коромыслом на мостках, и вдруг за поворотом все изменилось. Здесь было водохранилище и шлюзы, гидростанция и маленький городок при ней. Мы стали чалиться.

За пристанью был маленький базарчик. Торговали застарелой редиской, огурцами и ягодами. Мы купили клубники. Кулечки были свернуты из листков школьной тетради в косую клетку. Я различал слова, написанные фиолетовыми чернилами: «Этапы развития капитализма в Европе. 1) Борьба феодалов с горожанами».

Скачков развернул свой кулечек и хохотнул:

– Вот они – приметы нового, так сказать.

После «борьбы феодалов с горожанами» ничего нельзя было разобрать, все расплылось. Чернила смешались с кроваво-красным клубничным соком.

Мы увидели, что неподалеку, с какого-то старого причала, прыгают в воду пассажиры нашего теплохода. На краю причала в красном купальнике стояла Зина, похожая на статуэтку.

– Пошли выкупаемся, – сказал Скачков.

Рядом с Зиной готовились к прыжку в воду летчики. Они были мускулисты и неплохо сложены, но их сильно портили длинные синие трусы. Я ни за что не остался бы в таких трусах. Плавки на мне были что надо, а на Скачкове – вообще блеск.

Летчики стали прыгать в воду, вернее падать в нее. Они прыгали солдатиком, ногами вниз, очень неумело и смешно. Вынырнув, они поплыли грубыми саженками, а то и по-собачьи, отфыркиваясь и счастливо смеясь.

– Зиночка, прыгайте! – крикнул капитан, и они все уставились на причал.

Зина жеманно заерзала.

– Ой, боюсь! Какая вода?

– Мо-о-края! – закричал техник-лейтенант.

Скачков, расправляя плечи и поигрывая отличными мускулами, направился к краю причала. Он прыгнул не вниз, а вверх, вытянулся в воздухе, как струна, потом сложился комочком и, вытянув руки над самой водой, вошел в нее без брызг.

– Ой-о-ой! – восхищенно воскликнула Зина. Она подалась вперед и сияющими глазами следила за Скачковым, а я смотрел на нее. Она была тоненькая-тоненькая, а грудь – с ума сойти, и ручки, и ножки...

А Скачков внизу выдавал стили – и брасс, и кроль, и баттерфляй.

– Сколько вам лет, Зина? – спросил я.

– Все мои, – машинально отпарировала она, но вдруг медленно повернулась ко мне и спросила: – А что?

– Знаете кто вы? – сказал я. – Вы – четкий стук и тихий звон.

– Оставьте ваши шуточки при себе, – быстро сказала она и стала смотреть в воду, но вдруг опять повернулась и заглянула мне в глаза. – Что это? Я не понимаю... Тихий звон...

Голос ее звучал робко, и вся она в этот момент была – неуверенность, и робкость, и трепет молодого клейкого листочка.

– Ну что же ты? Прыгай! – закричал из воды Скачков.

Я прокашлялся и засмеялся.

– Будильник, – сказал я. – Четкий стук – тик-так, тик-так, и тихий звон – тр-р-р... Будильник с испорченным звонком.

Она захохотала, как тогда, резко и вульгарно.

– Ну и комик! – сказала она и очень по-бабьи, по-деревенски, спрыгнула в воду.

Я прыгнул за ней. Прыгнул не с таким блеском, как Скачков, но все-таки достаточно спортивно.

### 3

За обедом Скачков, виновато улыбаясь, сказал, что считает себя самым что ни на есть идиотским фанфароном и сопляком. Зачем ему понадобилось демонстрировать перед летчиками свое превосходство в прыжках в воду, показывать свой высокий класс? Все это очень глупо, но...

– Понимаешь, когда я раздеваюсь и если к тому же на мне хороший загар, я сразу становлюсь шестнадцатилетним пацаном. Просто чувствую каждую мышцу и весь свой сильный организм.

– Кончай рефлексировать, – с некоторым раздражением сказал я, – ты просто сделал хороший прыжок, и все. Летчики уже давно забыли про все прыжки на свете. Вон, посмотри, как обедают.

Летчики обедали шумно и напористо. Весь стол у них был заставлен бутылками пива и «Столичной».

Мы выпили по второй. Зина принесла суп. Мы съели суп и выпили по третьей.

– Ты знаешь, что у меня два года назад была выставка? – вдруг спросил Скачков.

– Нет, не слышал.

Он горько усмехнулся:

– Никто об этом не слышал, потому что выставка не представляла интереса.

– Да? – сказал я, глядя в окно.

Собственно говоря, я почти не знал его, талантлив ли он или нет, и для меня вовсе не было ошеломляющим открытием то, что его выставка не представляла интереса.

– Я тебе все сейчас расскажу, – возбужденно сказал Скачков. Я его еще не видел таким. – Пейзажики. Я выставил свои пейзажи – акварели и масло. Я не люблю свои пейзажи. Я люблю свою графику, но ее-то и не выставил. Потому что выставку организовал один кит из акаде-

мии, а ему не по душе была моя графика. Потому что он сам пейзажист, а я, значит, представлялся почтеннейшей публике как один из его старательных учеников. Потому что пейзажики у меня были кисло-сладкие, добропорядочный импрессионизм, и вашим, и нашим, а графика его раздражала. Потому что в ней я был самим собой, а это его не устраивало. Не надо дразнить быков, говорил он, наверное, имея в виду и самого себя как одного из быков. Давай выпьем еще. Зиночка, мы хотим еще. Я мог все-таки выставить графику, поставить его перед фактом. Кое-кто советовал мне сделать это. Можно было даже протащить через комиссию. Если бы я это сделал, ты бы знал, что у меня два года назад была выставка. Но я не сделал этого. Ну, давай выпьем. Будь здоров! Я не хотел рисковать, решил дожидаться лучших времен. Решил не дразнить быков. Решил, что не стоит рисковать с первой выставкой. А потом плюнул на все и ушел в институт, изучаю древнерусское зодчество. Давай еще по одной?

– Может, хватит тебе? Выставишь еще свою графику.

– Будь здоров! Может, выставлю, а может, и нет. Ну, если не выставлю, то что? Что произойдет? Ничего особенного. Каждому – свое. Правильно? – Последний вопрос был обращен к летчикам.

Те уже съели второе и теперь курили, попивая водку и пиво. Старлей что-то рассказывал, они смеялись и не слышали Скачкова. Он налил себе рюмку и встал.

– Пойду поговорю с ними за жисть-жестянку. Они все знают. Ты ни черта не знаешь и не можешь пролить бальзам на мои раны, а они все знают и прольют.

– Сядь, Скачков. Не лезь к летчикам.

Но он направился к ним, высокий, коротко стриженный, в сером пиджаке с двумя разрезами. Он подошел к ним и что-то сказал, они потеснились, и он сел, положив руку на спинку капитанского стула. Неужели он начнет им сейчас рассказывать про свою графику?

Тут включился в работу радиоузел теплохода, и заиграла музыка из «Оперы нищих». Я сидел и думал, что лирикам моего типа легче жить. У нас все неясно: грусть и недовольство собой, а стоит увидеть девушку или радиоузел начнет работу, и – все меняется. Мы похожи на радиоприемники с плохой комнатной антенной – много разных звуков и много помех, ничего не поймешь. А стоит ли выводить антенну наружу да еще делать ее направленной? Куда направлять ведь неизвестно, и пусть так будет, все лучше, чем психология Скачкова, с которой жить, должно быть, почти невозможно.

– Дайте счет, Зина.

Она вынула из кармана блокнот и стала считать. Она стояла совсем близко, точеное, как шахматная фигура, существо в черной юбке и нейлоновой кофточке, и считала:

– Солянка два раза, бифштекс два раза...

– Сколько же вам все-таки лет? – спросил я.

– Двадцать, – сказала она тихо. – Я из Павловска.

Ей-богу, она чуть не плакала. В ней, должно быть, в эту минуту звонили все ее тихие колокольчики и пустые фужеры...

– Вечером погуляем по палубе? – осторожно спросил я.

Она кивнула и отошла.

В эту минуту с грохотом отлетели стулья, и я увидел, как вскочили капитан и Скачков. Капитан взял Скачкова за лацкан пиджака.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.